

Мир 20  
век

# НЕКРОПОЛЬ

Владислав Ходасевич

OZON.RU

## Annotation

Книга «Некрополь», уже давно ставшая классикой мемуарного жанра, интересна прежде всего острыми характеристиками людей, с которыми В.Ходасевича сталкивала жизнь — среди них А.Блок, В.Брюсов, А.Белый, Н.Гумилев, М.Горький, Ф.Сологуб, — и точным описанием эпохи.

---

- [Ходасевич Владислав](#)

- [Предисловие](#)
- [Конец Ренаты](#)
- [Брюсов](#)
- [Андрей Белый](#)
- [Муни](#)
- [Гумилев и Блок](#)
- [Гершензон](#)
- [Сологуб](#)
- [Есенин](#)
- [Горький](#)

- [notes](#)

- [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
-

**Ходасевич Владислав**  
**Некрополь**

## Предисловие

Собранные в этой книге воспоминания о некоторых писателях недавнего прошлого основаны только на том, чему я сам был свидетелем, на прямых показаниях действующих лиц и на печатных и письменных документах. Сведения, которые мне случалось получать из вторых или третьих рук, мною отстранены. Два-три незначительных отступления от этого правила указаны в тексте.

## Конец Ренаты

В ночь на 23 февраля 1928 года, в Париже, в нищенском отеле нищенского квартала, открыв газ, покончила с собой писательница Нина Ивановна Петровская. Писательницей называли ее по этому поводу в газетных заметках. Но такое прозвание как-то не вполне к ней подходит. По правде сказать, ею написанное было незначительно и по количеству, и по качеству. То небольшое дарование, которое у нее было, она не умела, а главное — вовсе и не хотела «истратить» на литературу. Однако, в жизни литературной Москвы, между 1903–1909 гг., она сыграла видную роль. Ее личность повлияла на такие обстоятельства и события, которые с ее именем как будто вовсе не связаны. Однако, прежде, чем рассказать о ней, надо коснуться того, что зовется духом эпохи. История Нины Петровской без этого непонятна, а то и не занимательна.

\* \* \*

Символисты не хотели отделять писателя от человека, литературную биографию от личной. Символизм не хотел быть только художественной школой, литературным течением. Все время он порывался стать жизненно-творческим методом, и в том была его глубочайшая, быть может, невоплотимая правда, но в постоянном стремлении к этой правде протекла, в сущности, вся его история. Это был ряд попыток, порой истинно героических, — найти сплав жизни и творчества, своего рода философский камень искусства. Символизм упорно искал в своей среде гения, который сумел бы слить жизнь и творчество воедино. Мы знаем теперь, что гений такой не явился, формула не была открыта. Дело свелось к тому, что история символистов превратилась в историю разбитых жизней, а их творчество как бы недовоплотилось: часть творческой энергии и часть внутреннего опыта воплощалась в писаниях, а часть недовоплощалась, утекала в жизнь, как утекает электричество при недостаточной изоляции.

Процент этой «утечки» в разных случаях был различен. Внутри каждой личности боролись за преобладание «человек» и «писатель». Иногда побеждал один, иногда другой. Победа чаще всего доставалась той стороне личности, которая была даровитее, сильнее, жизнеспособнее. Если талант литературный оказывался сильнее — «писатель» побеждал

«человека». Если сильнее литературного таланта оказывался талант жить — литературное творчество отступало на задний план, подавлялось творчеством иного, жизненного порядка. На первый взгляд странно, но в сущности последовательно было то, что в ту пору и среди тех людей «дар писать» и «дар жить» расценивались почти одинаково.

Выпуская впервые «Будем как Солнце», Бальмонт писал, между прочим, в посвящении: «Модесту Дурнову, художнику, создавшему поэму из своей личности». Тогда это были совсем не пустые слова. В них очень запечатлен дух эпохи. Модест Дурнов, художник и стихотворец, в искусстве прошел бесследно. Несколько слабых стихотворений, несколько неважных обложек и иллюстраций — и кончено. Но о жизни его, о личности слагались легенды. Художник, создающей «поэму» не в искусстве своем, а в жизни, был законным явлением в ту пору. И Модест Дурнов был не одинок. Таких, как он, было много, — в том числе Нина Петровская. Литературный дар ее был не велик. Дар жить — неизмеримо больше.

Из жизни бедной и случайной  
Я сделал трепет без конца...

она с полным правом могла бы сказать это о себе. Из жизни своей она воистину сделала бесконечный трепет, из творчества — ничего. Искуснее и решительнее других создала она «поэму из своей жизни». Надо прибавить: и о ней самой создалась поэма. Но об этом речь впереди.

\* \* \*

Нина скрывала свои года. Думаю, что она родилась приблизительно в 1880 г. Мы познакомились в 1902. Я узнал ее уже начинающей беллетристкой. Кажется, она была дочерью чиновника. Кончила гимназию, потом зубоврачебные курсы. Была невестой одного, вышла за другого. Юные годы ее сопровождалась драмой, о которой она вспоминать не любила. Вообще не любила вспоминать свою раннюю молодость, до начала, «литературной эпохи» в ее жизни. Прошлое казалось ей бедным, жалким. Она нашла себя лишь после того, как очутилась среди символистов и декадентов, в кругу «Скорпиона» и «Грифа».

Да, здесь жили особой жизнью, не похожей на ее прошлую. Может

быть, и вообще ни на что больше не похожей. Здесь пытались претворить искусство в действительность, а действительность в искусство. События жизненные, в связи с неясностью, шаткостью линий, которыми для этих людей очерчивалась реальность, никогда не переживались, как только и просто жизненные; они тотчас становились частью внутреннего мира и частью творчества. Обратно: написанное кем бы то ни было становилось реальным, жизненным событием для всех. Таким образом, и действительность, и литература создавались как бы общими, порою враждующими, но и во вражде соединенными силами всех, попавших в эту необычайную жизнь, в это «символическое измерение». То был, кажется, подлинный случай коллективного творчества.

Жили в неистовом напряжении, в вечном возбуждении, в обостренности, в лихорадке. Жили разом в нескольких планах. В конце концов, были сложнее запутаны в общую сеть любвей и ненавистей, личных и литературных. Вскоре Нина Петровская сделалась одним из центральных узлов, одною из главных петель той сети.

Не мог бы я, как полагается мемуаристу, «очертить ее природный характер». Блок, приезжавший в 1904 г. знакомиться с московскими символистами, писал о ней своей матери: «Очень мила, довольно умная». Такие определения ничего не покрывают. Нину Петровскую я знал двадцать шесть лет, видел доброй и злой, податливой и упрямой, трусливой и смелой, послушной и своевольной, правдивой и лживой. Одно было неизменно: и в доброте, и в злобе, и в правде, и во лжи — всегда, во всем хотела она доходить до конца, до предела, до полноты, и от других требовала того же. «Все или ничего» могло быть ее девизом. Это ее и сгубило. Но это в ней не само собой зародилось, а было привито эпохой.

О попытке слить воедино жизнь и творчество я говорил выше, как о правде символизма. Эта правда за ним и останется, хотя она не ему одному принадлежит. Это — вечная правда, символизмом только наиболее глубоко и ярко пережитая. Но из нее же возникло и великое заблуждение символизма, его смертный грех. Провозгласив культ личности, символизм не поставил перед нею никаких задач, кроме «саморазвития». Он требовал, чтобы это развитие совершалось; но как, во имя чего и в каком направлении — он не предугадывал, предугадывать не хотел да и не умел. От каждого, вступавшего в орден (а символизм в известном смысле был орденом), требовалось лишь непрерывное горение, движение — безразлично во имя чего. Все пути были открыты с одной лишь обязанностью — идти как можно быстрее и как можно дальше. Это был единственный, основной догмат. Можно было прославлять и Бога, и

Дьявола. Разрешалось быть одержимым чем угодно: требовалась лишь полнота одержимости.

Отсюда: лихорадочная погоня за эмоциями, безразлично за какими. Все «переживания» почитались благом, лишь бы их было много и они были сильны. В свою очередь отсюда вытекало безразличное отношение к их последовательности и целесообразности. «Личность» становилась копилкой переживаний, мешком, куда ссыпались накопленные без разбора эмоции, — «миги», по выражению Брюсова: «Берем мы миги, их губя».

Глубочайшая опустошенность оказывалась последним следствием этого эмоционального скопидомства. Скупые рыцари символизма умирали от духовного голода — на мешках накопленных «переживаний». Но это было именно последнее следствие. Ближайшим, давшим себя знать очень давно, почти сразу же, было нечто иное: непрестанное стремление перестраивать мысль, жизнь, отношения, самый даже обиход свой по императиву очередного «переживания» влекло символистов к непрестанному актерству перед самими собой — к разыгрыванию собственной жизни как бы на театре жгучих импровизаций. Знали, что играют, — но игра становилась жизнью. Расплаты были не театральные. «Истекаю клюквенным соком!» кричал блоковский паяц. Но клюквенный сок иногда оказывался настоящею кровью.

Декадентство, упадочничество — понятие относительное: упадок определяется отношением к первоначальной высоте. Поэтому в применении к искусству ранних символистов термин декадентство был бессмыслен: это искусство само по себе никаким упадком по отношению к прошлому не было. Но те грехи, которые выросли и развились внутри самого символизма — были по отношению к нему декадентством, упадком. Символизм, кажется, родился с этой отравой в крови. В разной степени она бродила во всех людях символизма. В известной степени (или в известную пору) каждый был декадентом. Нина Петровская (и не она одна) из символизма восприняла только его декадентство. Жизнь свою она сразу захотела сыграть — и в этом, по существу ложном, задании осталась правдивою, честною до конца. Она была истинной жертвою декадентства.

\* \* \*

Любовь открывала для символиста или декадента прямой и кратчайший доступ к неиссякаемому кладезю эмоций. Достаточно было быть влюбленным — и человек становился обеспечен всеми предметами



первой лирической необходимости: Страстью, Отчаянием, Ликованием, Безумием, Пороком, Грехом, Ненавистью и т. д. Поэтому все и всегда были влюблены: если не в самом деле, то хоть уверяли себя, будто влюблены; малейшую искорку чего-то похожего на любовь раздували изо всех сил. Недаром воспевались даже такие вещи, как «любовь к любви».

Подлинное чувство имеет степени от любви навсегда до мимолетного увлечения. Символистам самое понятие «увлечения» было противно. Из каждой любви они обязаны были извлекать максимум эмоциональных возможностей. Каждая должна была, по их нравственно-эстетическому кодексу, быть роковой, вечной. Они во всем искали превосходных степеней. Если не удавалось сделать любовь «вечной» — можно было разлюбить. Но каждое разлюбление и новое влюбление должны были сопровождаться глубочайшими потрясениями, внутренними трагедиями и даже перекраской всего мироощущения. В сущности для того все и делалось.

Любовь и все производные от нее эмоции должны были переживаться в предельной напряженности и полноте, без оттенков и случайных примесей, без ненавистных психологизмов. Символисты хотели питаться крепчайшими эссенциями чувств. Настоящее чувство лично, конкретно, неповторимо. Выдуманное или взвинченное лишено этих качеств. Оно превращается в собственную абстракцию, в идею о чувстве. Потому-то оно и писалось так часто с заглавных букв.

Нина Петровская не была хороша собой. Но в 1903 году она была молода, — это много. Была «довольно умна», как сказал Блок, была «чувствительна», как сказали бы о ней, живи она столетием раньше. Главное же — очень умела «попадать в тон». Она тотчас стала объектом любвей.

Первым влюбился в нее поэт, влюблявшийся просто во всех без изъятия. Он предложил ей любовь стремительную и испепеляющую. Отказаться было никак невозможно: тут действовало и польщенное самолюбие (поэт становился знаменитостью), и страх оказаться провинциалкой, и главное — уже воспринятое учение о «мигах». Пора было начать «переживать». Она уверила себя, что тоже влюблена. Первый роман сверкнул и погас, оставив в ее душе неприятный осадок — нечто вроде похмелья. Нина решила «очистить душу», в самом деле несколько уже оскверненную поэтовым «оргазмом». Она отреклась от «Греха», облачилась в черное платье, каялась. В сущности, каяться следовало. Но это было более «переживанием покаяния», чем покаянием подлинным.

В 1904 году Андрей Белый был еще очень молод, золотокудр, голубоглаз и в высшей степени обаятелен. Газетная подворотня гоготала

над его стихами и прозой, поражавшими новизной, дерзостью, иногда — проблесками истинной гениальности. Другое дело — как и почему его гений впоследствии был загублен. Тогда этого несчастья еще не предвидели.

Им восхищались. В его присутствии все словно мгновенно менялось, смещалось или озарялось его светом. И он в самом деле был светел. Кажется, все, даже те, кто ему завидовал, были немножко в него влюблены. Даже Брюсов порой подпадал под его обаяние. Общее восхищение, разумеется, передалось и Нине Петровской. Вскоре перешло во влюбленность, потом в любовь.

О, если бы в те времена могли любить просто, во имя того, кого любишь, и во имя себя! Но надо было любить во имя какой-нибудь отвлеченности и на фоне ее. Нина обязана была в данном случае любить Андрея Белого во имя его мистического призвания, в которое верить заставляли себя и она, и он сам. И он должен был являться перед нею не иначе, как в блеске своего сияния — не говорю поддельного, но... символического. Малую правду, свою человеческую, просто человеческую любовь они рядили в одежды правды неизмеримо большей. На черном платье Нины Петровской явилась черная нить деревянных четок и большой черный крест. Такой крест носил и Андрей Белый...

О, если бы он просто разлюбил, просто изменил! Но он не разлюбил, а он «бежал от соблазна». Он бежал от Нины, чтобы ее слишком земная любовь не пятнала его чистых риз. Он бежал от нее, чтобы еще ослепительнее сиять перед другой, у которой имя и отчество и даже имя матери так складывались, что было символически очевидно: она — предвестница Жены, облеченной в Солнце. А к Нине ходили его друзья, шепелявые, колченогие мистики, укорять, обличать, оскорблять: «Сударыня вы нам чуть не осквернили пророка! Вы отбиваете рыцарей у Жены! Вы играете очень темную роль! Вас инспирирует Зверь, выходящий из бездны».

Так играли словами, коверкая смыслы, коверкая жизни. Впоследствии исковеркали жизнь и самой Жене облеченной в Солнце, и мужу ее, одному из драгоценнейших русских поэтов.

Тем временем Нина оказалась брошенной да еще оскорбленной. Слишком понятно, что как многие брошенные женщины, она захотела разом и отомстить Белому, и вернуть его. Но вся история, раз попав в «символическое измерение», продолжала и развиваться в нем же.

Осенью 1904 г. я однажды случайно сказал Брюсову, что нахожу в Нине много хорошего.

— Вот как? — отрезал он: — что же, она хорошая хозяйка?

Он подчеркнуто не замечал ее. Но тотчас переменялся, как наметился ее разрыв с Белым, потому что по своему положению не мог оставаться нейтральным.

Он был представителем демонизма. Ему полагалось перед Женой облеченной в Солнце «томиться и скрежетать». Следственно, теперь Нина, ее соперница, из «хорошей хозяйки» превращалась в нечто значительное, облакалась демоническим ореолом. Он предложил ей союз — против Белого. Союз тотчас же был закреплен взаимной любовью. Опять же, все это очень понятно и жизненно: так часто бывает. Понятно, что Брюсов ее по своему полюбил, понятно, что и она невольно искала в нем утешения, утешения затронутой гордости, а в союзе с ним — способа «отомстить» Белому.

Брюсов в ту пору занимался оккультизмом, спиритизмом, черною магией, не веруя, вероятно, во все это по существу, но веруя в самые занятия, как в жест, выражающий определенное душевное движение. Думаю, что и Нина относилась к этому точно так же. Вряд ли верила она, что ее магические опыты, под руководством Брюсова в самом деле вернут ей любовь Белого. Но она переживала это, как подлинный союз с дьяволом. Она хотела верить в свое ведовство. Она была истеричкой, и это, быть может, особенно привлекало Брюсова: из новейших научных источников (он всегда уважал науку) он ведь знал, что в «великий век ведовства» ведьмами почитались и сами себя почитали — истерички. Если ведьмы XVI столетия «в свете науки» оказались истеричками, то в XX веке Брюсову стоило попытаться превратить истеричку в ведьму.

Впрочем, не слишком доверяя магии, Нина пыталась прибегнуть и к другим средствам. Весной 1905 года, в малой аудитории Политехнического музея Белый читал лекцию. В антракте Нина Петровская подошла к нему и выстрелила из браунинга в упор. Револьвер дал осечку; его тут же выхватили из ее рук. Замечательно, что второго покушения она не совершила. Однажды она сказала мне (много позже):

— Бог с ним. Ведь, по правде сказать, я уже убила его тогда, в музее.

Этому «по правде сказать» я нисколько не удивился: так перепутаны, так перемешаны были в сознаниях действительность и воображение.

То, что для Нины стало средоточием жизни, было для Брюсова очередной серией «мигов». Когда все вытекающие из данного положения эмоции были извлечены, его потянуло к перу. В романе «Огненный Ангел», с известной условностью, он изобразил всю историю, под именем графа Генриха представив Андрея Белого, под именем Ренаты — Нину Петровскую, а под именем Рупрехта самого себя.<sup>[1]</sup>

В романе Брюсов разрубил все узлы отношений между действующими лицами. Он придумал развязку и подписал «конец» под историей Ренаты раньше, чем легшая в основу романа жизненная коллизия разрешилась в действительности. Со смертью Ренаты не умерла Нина Петровская, для которой, напротив, роман безнадежно затягивался. То, что для Нины еще было жизнью, для Брюсова стало использованным сюжетом. Ему тягостно было бесконечно переживать все одни и те же главы. Все больше он стал отдаляться от Нины. Стал заводить новые любовные истории, менее трагические. Стал все больше уделять времени литературным делам и всевозможным заседаниям, до которых был великий охотник. Отчасти его потянуло даже к домашнему очагу (он был женат).

Для Нины это был новый удар. В сущности, к тому времени (а шел уже, примерно, 1906 год) ее страдания о Белом притупились, утихли. Но она сжилась с ролью Ренаты. Теперь перед ней встала грозная опасность утратить и Брюсова. Она несколько раз пыталась прибегнуть к испытанному средству многих женщин; она пробовала удержать Брюсова, возбуждая его ревность. В ней самой эти мимолетные романы (с «прохожими», как она выражалась) вызывали отвращение и отчаяние. «Прохожих» она презирала и оскорбляла. Однако, все было напрасно. Брюсов охладевал. Иногда он пытался воспользоваться ее изменами, чтобы порвать с ней вовсе. Нина переходила от полосы к полосе, то любя Брюсова, то ненавидя его. Но во все полосы она предавалась отчаянию. По двое суток, без пищи и сна, пролеживала она на диване, накрыв голову черным платком, и плакала. Кажется, свидания с Брюсовым протекали в обстановке не более легкой. Иногда находили на нее приступы ярости. Она ломала мебель, била предметы, бросая их «подобно ядрам из баллисты», как сказано в «Огненном Ангеле» при описании подобной сцены.

Она тщетно прибегала к картам, потом к вину. Наконец, уже весной 1908 года, она испробовала морфий. Затем сделала морфинистом Брюсова, и это была ее настоящая, хоть не создаваемая месть. Осенью 1909 года она тяжело заболела от морфия, чуть не умерла. Когда несколько оправилась, решено было, что она уедет за границу: «в ссылку», по ее слову. Брюсов и я проводили ее на вокзал. Она уезжала навсегда. Знала, что Брюсова больше

никогда не увидит. Уезжала еще полубольная, с сопровождавшим ее врачом. Это было 9 ноября 1911 года. В прежних московских страданиях она прожила семь лет. Уезжала на новые, которым суждено было продлиться еще шестнадцать.

Ее скитания за границей известны мне не подробно. Знаю, что из Италии она приезжала в Варшаву, потом в Париж. Здесь, кажется в 1913 году, однажды она выбросилась из окна гостиницы на бульвар Сен-Мишель. Сломала ногу, которая плохо срослась, и осталась хромой.

Война застала ее в Риме, где прожила она до осени 1922 года в ужасающей нищете, то в порывах отчаяния, то в припадках смирения, которое сменялось отчаянием еще более бурным. Она побиралась, просила милостыню, шила белье для солдат, писала сценарий для одной кинематографической актрисы, опять голодала. Пила. Порой доходила до очень глубоких степеней падения. Перешла в католичество. «Мое новое и тайное имя, записанное где-то в нестираемых свитках San Pietro — Рената», — писала она мне.

Брюсова она возненавидела: «Я задыхалась от злого счастья, что теперь ему меня не достать, что теперь другие страдают. Почему я знала — какие другие, — Львову он уже в то время прикончил... Я же жила, мстя ему каждым движением, каждым помышлением».

Сюда, в Париж, она приехала весной 1927 года, после пятилетнего нищенского существования в Берлине. Приехала вполне нищей. Здесь нашлось у нее не мало друзей. Помогали ей, как могли и, кажется, иногда больше, чем могли. Иногда удавалось найти ей работу, но работать она уже не могла. В вечном хмелю, не теряя рассудка, она уже была точно по другую сторону жизни.

\* \* \*

В дневнике Блока, под 6 ноября 1911 года, странная запись: *Нина Ивановна Петровская «умирает»*. Известие это Блок получил из Москвы, но почему слово «умирает» он написал в кавычках?

Нина в те дни, действительно, умирала: это была та болезнь, перед отъездом из России, о которой я говорил выше. Но Блок слово «умирает» поставил в кавычки, потому что отнесся к известию с ироническим недоверием. Ему было известно, что еще с 1906 года Нина Петровская постоянно обещалась умереть, покончить с собой. Двадцать два года она жила в непрестанной мысли о смерти. Иногда шутила сама над собой:

Устюшкина мать  
Собиралась помирать.  
Помереть не померла  
Только время провела.

Сейчас я просматриваю ее письма. 26 февраля 1925: «Кажется, больше не могу». 7 апр.1925: «Вы, вероятно, думаете, что я умерла? Нет еще». 8 июня 1927: «Клянусь Вам, иного выхода не может быть». 12 сентября 1927: «Еще немного, и уж никаких мест, никакой работы мне не понадобится». 14 сентября 1927: «На этот раз я скоро должна скончаться».

Это — в письмах последней эпохи. Прежних у меня нет под рукою. Но всегда было то же — и в письмах, и в разговорах.

Что же удерживало ее? Мне кажется, я знаю причину.

Жизнь Нины была лирической импровизацией, в которой, лишь применяясь к таким же импровизациям других персонажей, она старалась создать нечто целостное — «поэму из своей личности». Конец личности, как и конец поэмы о ней, — смерть. В сущности поэма была закончена в 1906 году, в том самом, на котором сюжетно обрывается «Огненный Ангел». С тех пор, и в Москве, и в заграничных странствиях Нины длился мучительный, страшный, но ненужный, лишенный движения эпилог. Оборвать его Нина не боялась, но не могла. Чутье художника, творящего жизнь, как поэму, подсказывало ей, что конец должен быть связан еще с каким-то последним событием, с разрывом какой-то еще одной нити, прикреплявшей ее к жизни. Наконец, это событие совершилось.

С 1908 года, после смерти матери, на ее попечении осталась младшая сестра, Надя, существо недоразвитое умственно и физически (с нею случилось в детстве несчастье: ее обварили кипятком). Впрочем, идиоткой она не была, но отличалась какою-то предельной тихостью, безответностью. Была жалка нестерпимо и предана старшей сестре до полного самозабвения. Конечно, никакой собственной жизни у нее не было. В 1909 г., уезжая из России, Нина взяла ее с собой, и с той поры Надя делила с ней все бедствия заграничной жизни. Это было единственное и последнее существо, еще реально связанное с Ниной и связывавшее Нину с жизнью.

Всю осень 1927 года Надя хворала безропотно и неслышно, как жила. Так же тихо и умерла, 13 января 1928 года, от рака желудка. Нина ходила в покойницкую больницы, где Надя лежала. Английской булавкой колола маленький труп сестры, потом той же булавкой — себя в руку: хотела

заразиться трупным ядом, умереть единою смертью. Рука, однако ж, сперва опухла, потом зажила.

Нина бывала у меня в это время. Однажды прожила у меня три дня. Говорила со мной на том странном языке девятисотых годов, который когда-то нас связывал, был у нас общим, но который с тех пор я почти уже разучился понимать.

Смертью Нади была дописана последняя фраза затянувшегося эпилога. Через месяц с небольшим, собственной смертью, Нина Петровская поставила точку.

*Версаль, 1928.*

## Брюсов

Когда я увидел его впервые, было ему года двадцать четыре, а мне одиннадцать. Я учился в гимназии с его младшим братом. Его вид поколебал мое представление о «декадентах». Вместо голого лохмача с лиловыми волосами и зеленым носом (таковы были, «декаденты» по фельетонам «Новостей Дня») увидел я скромного молодого человека с короткими усиками, с бобриком на голове, в пиджаке обычного покроя, в бумажном воротничке. Такие молодые люди торговали галантерейным товаром на Сретенке. Таким молодым человеком изображен Брюсов на фотографии, приложенной к I тому его сочинений в издании «Сирина».

Впоследствии, вспоминая молодого Брюсова, я почувствовал, что главная острота его тогдашних стихов заключается именно в сочетании декадентской экзотики с простодушнейшим московским мещанством. Смесь очень пряная, излом очень острый, диссонанс режущий, но потому-то ранние книги Брюсова (до *Tertia Vigilia* включительно) — суть все-таки лучшие его книги: наиболее острые. Все это тропические фантазии — на берегах Яузы, переоценка всех ценностей — в районе сретенской части. И до сих пор куда больше признанного Брюсова нравится мне этот «неизвестный, осмеянный, странный» автор *Chef d'uvre*. Мне нравится, что этот дерзкий молодой человек, готовый мимоходом обронить замечание:

*Родину я ненавижу,* — в то же время, оказывается, способен подобрать на улице облезлого котенка и с бесконечной заботливостью выхаживать его в собственном кармане, сдавая государственные экзамены.

\* \* \*

Дед Брюсова, по имени Кузьма, родом из крепостных, хорошо расторговался в Москве. Был он владелец довольно крупной торговли. Товар был заморский: пробки. От него дело перешло к сыну Авиве, а затем к внукам, Авивовичам. Вывеска над помещением фирмы, в одном из переулков между Ильинкой и Варваркой, была еще цела осенью 1920 года. Почти окна в окна, наискосок от этой торговли, помещалась нотариальная контора П. А. Соколова. Там в начале девятисотых годов, по почину Брюсова, устраивались спиритические сеансы. Я был на одном из последних, в начале 1905 г. Было темно и скучно. Когда расходились,



Валерий Яковлевич сказал:

— Спиритические силы со временем будут изучены и, может быть, даже найдут себе применение в технике, подобно пару и электричеству.

Впрочем, к этому времени его увлечение спиритизмом остыло, и он, кажется, прекратил сотрудничество в журнале «Ребус».

Уж не знаю, почему пробочное дело Кузьмы Брюсова перешло к одному Авиве. Почему Кузьме вздумалось в завещании обделить второго сына, Якова Кузьмича? Думаю, что Яков Кузьмич чем-нибудь провинился перед отцом. Был он вольнодумец, лошадник, фантазер, побывал в Париже и даже писал стихи. Совершал к тому же усердные возлияния в честь Бахуса. Я видел его уже вполне пожилым человеком, с вихрастой седой головой, в поношенном сюртуке. Он был женат на Матрене Александровне Бакулиной, женщине очень доброй, чудаковатой, мастерице плести кружева и играть в преферанс. История сватовства и женитьбы Якова Кузьмича описана его сыном в повести «Обручение Даши». Сам Валерий Яковлевич порою подписывал свои статьи псевдонимом «В. Бакулин». В большинстве случаев это были полемические статьи, о которых говаривали, что их главную часть составляют *argumenta baculma*.

Не завещав Якову Кузьмину торгового предприятия, Кузьма Брюсов обошел его и в той части завещания, которая касалась небольшого дома, стоявшего на Цветном бульваре, против цирка Соломонского. Дом этот перешел непосредственно к внукам завещателя, Валерию и Александру Яковлевичами Там и жила вся семья Брюсовых вплоть до осени 1910 г. Там и скончался Яков Кузьмич, в январе 1908 г. Матрена Александровна пережила мужа почти на тринадцать лет.

Дом на Цветном бульваре был старый, нескладный, с мезонинами и пристройками, с полутемными комнатами и скрипучими деревянными лестницами. Было в нем зальце, средняя часть которого двумя арками отделялась от боковых. Полукруглые печи примыкали к аркам. В кафелях печей отражались лапчатые тени больших латаний и синева окон. Эти латании, печи и окна дают реальную расшифровку одного из ранних брюсовских стихотворений, в свое время провозглашенного верхом бессмыслицы:

Тень несозданных созданий  
Колыхается во сне,  
Словно лопасти латаний  
На эмалевой стене...  
Всходит месяц обнаженный

При лазоревой луне — и т. д.<sup>[2]</sup>

В зале, сбоку, стоял рояль. По стенам — венские стулья. Висели две три почерневших картины в золотых рамках. Зала служила также столовой. Посредине ее, на раздвижном столе, покрытом клетчатой скатертью, появлялась миска; в комнате пахло щами. Яков Кузьмич выходил из своей полутемной спальни с заветным графинчиком коньяку. Дрожащей рукой держа рюмку над тарелкой, проливал коньяк во щи. Глубоко подцепляя капусту ложкой, мешал в тарелке. Бормотал виновато:

— Не беда, все вместе будет.

И выпивал, чокнувшись с зятем, Б. В. Калюжным, ныне тоже покойным.

Валерий Яковлевич не часто являлся на родительской половине. Была у него в том же доме своя квартира, где жил он с женою, Иоанной Матвеевной и со свояченицей, Брониславой Матвеевной Рунт, одно время состоявшей секретарем «Весов» и «Скорпиона». Обстановка квартиры приближалась к стилю «модерн». Небольшой кабинет Брюсова был заставлен книжными полками. Чрезвычайно внимательный к посетителям, Брюсов, сам не куривший в ту пору, держал на письменном столе спички. Впрочем, в предупреждение рассеянности гостей, металлическая спичечница была привязана на веревочке. На стенах в кабинете и в столовой висели картины Шестеркина, одного из первых русских декадентов, а также рисунки Фидуса, Брунеллески, Феофилактова и др. В живописи Валерий Яковлевич разбирался не важно, однако имел пристрастия. Всем прочим художникам Возрождения почему-то предпочитал он Чиму да Конельяно.

Некогда в этой квартире происходили знаменитые среды, на которых творились судьбы если не всероссийского, то во всяком случае московского модернизма. В ранней юности я знал о них понаслышке, но не смел и мечтать о проникновении в такое святилище. Лишь осенью 1904 г., новоиспеченным студентом, получил я от Брюсова письменное приглашение. Снимая пальто в передней, я услышал голос хозяина:

— Очень вероятно, что на каждый вопрос есть не один, а несколько истинных ответов, может быть — восемь. Утверждая одну истину, мы опрометчиво игнорируем еще целых семь.

Мысль эта очень взволновала одного из гостей, красивого, голубоглазого студента с пушистыми светлыми волосами. Когда я входил в кабинет, студент летучей, танцующею походкой носился по комнате и

говорил, охваченный радостным возбуждением, переходя с густого баса к тончайшему альту, то почти приседая, то подымаясь на цыпочки.<sup>[3]</sup> Это был Андрей Белый. Я увидел его впервые в тот вечер. Другой гость, тоже студент, плотный, румяный брюнет, сидел в кресле, положив ногу на ногу. Он оказался С. М. Соловьевым. Больше гостей не было: «среды» клонились уже к упадку.

В столовой, за чаем, Белый читал (точнее будет сказать — пел) свои стихи, впоследствии в измененной редакции вошедшие в «Пепел»: «За мною грохочущий город», «Арестанты», «Попрошайка». Было что-то необыкновенно обаятельное в его тогдашней манере чтения и во всем его облике. После Белого С. М. Соловьев прочитал полученное от Блока стихотворение «Жду я смерти близ денницы». Брюсов строго осудил последнюю строчку. Потом он сам прочитал два новых стихотворения: «Адам и Ева» и «Орфей — Эвридике». Потом С. М. Соловьев прочитал свои стихи. Брюсов тщательно разбирал то, что ему читали. Разбор его был чисто формальный. Смысла стихов он отнюдь не касался и даже как бы подчеркивал, что смотрит на них, как на ученические упражнения, не более. Это учительское отношение к таким самостоятельным поэтам, какими уже в ту пору были Белый и Блок, меня удивило и покорило. Однако, сколько я мог заметить, оно сохранилось у Брюсова навсегда.

Беседа за чаем продолжалась. Разбирать стихи самого Брюсова, как я заметил, было не принято. Они должны были приниматься, как заповеди. Наконец, произошло то, чего я опасался: Брюсов предложил и мне прочитать «мое». Я в ужасе отказался.

\* \* \*

В девятисотых годах Брюсов был лидером модернистов. Как поэта, многие ставили его ниже Бальмонта, Сологуба, Блока. Но Бальмонт, Сологуб, Блок были гораздо менее литераторами, чем Брюсов. К тому же, никого из них не заботил так остро вопрос о занимаемом месте в литературе. Брюсову же хотелось создать «движение» и стать во главе его. Поэтому создание «фаланги» и предводительство ею, тяжесть борьбы с противниками, организационная и тактическая работа — все это ложилось преимущественно на Брюсова. Он основал «Скорпион» и «Весы» и самодержавно в них правил; он вел полемику, заключал союзы, объявлял войны, соединял и разъединял, мирил и ссорил. Управляя многими явными и тайными нитями, чувствовал он себя капитаном некоего литературного

корабля и дело свое делал с великой бдительностью. К властвованию, кроме природной склонности, толкало его и сознание ответственности за судьбу судна. Иногда экипаж начинал бунтовать. Брюсов смирал его властным окриком, — но иной раз принужден был идти на уступки «конституционного» характера. Затем, путем интриг внутри своего «парламента», умел его развалить и парализовать. От этого его самодержавие только укреплялось.

Чувство равенства было Брюсову совершенно чуждо. Возможно, впрочем, что тут влияла и мещанская среда, из которой вышел Брюсов. Мещанин не в пример легче гнет спину, чем, например, аристократ или рабочий. За то и желание при случае унижить другого обуревают счастливого мещанина сильнее, чем рабочего или аристократа. «Всяк сверчок знай свой шесток», «чин чина почитай»: эти идеи заносились Брюсовым в литературные отношения прямо с Цветного бульвара. Брюсов умел или командовать, или подчиняться. Проявить независимость — означало раз навсегда приобрести врага в лице Брюсова. Молодой поэт, не пошедший к Брюсову за оценкой и одобрением, мог быть уверен, что Брюсов никогда ему этого не простит. Пример — Марина Цветаева. Стоило возникнуть дружескому издательству или журналу, в котором главное руководство принадлежало не Брюсову, — тотчас издавался декрет о воспрещении сотрудникам «Скорпиона» участвовать в этом издательстве или журнале. Так, последовательно воспрещалось участие в «Гриффе», потом в «Искусстве», в «Перевале».

Власть нуждается в декорациях. Она же родит прислужничество. Брюсов старался окружить себя раболепством — и, увы, находил подходящих людей. Его появления всегда были обставлены театрально. В ответ на приглашение он не отвечал ни да, ни нет, предоставляя ждать и надеяться. В назначенный час его не бывало. Затем начинали появляться лица свиты. Я хорошо помню, как однажды, в 1905 г., в одном «литературном» доме хозяева и гости часа полтора шепотом гадали: придет или нет?

Каждого новоприбывшего спрашивали:

— Вы не знаете, будет Валерий Яковлевич?

— Я видел его вчера. Он сказал, что будет.

— А мне он сегодня утром сказал, что занят.

— А мне он сегодня в четыре сказал, что будет.

— Я его видел в пять. Он не будет.

И каждый старался показать, что ему намерения Брюсова известнее, чем другим, потому что он стоит ближе к Брюсову.

Наконец, Брюсов являлся. Никто с ним первый не заговаривал: ему отвечали, если он сам обращался.

Его уходы были так же таинственны: он исчезал внезапно. Известен случай, когда перед уходом от Андрея Белого он внезапно погасил лампу, оставив присутствующих во мраке. Когда вновь зажгли свет, Брюсова в квартире не было. На другой день Андрей Белый получил стихи: «Бальдеру — Локи»:

Но последний царь вселенной,  
Сумрак, сумрак — за меня!

\* \* \*

У него была примечательная манера подавать руку. Она производила странное действие. Брюсов протягивал человеку руку. Тот протягивал свою. В ту секунду, когда руки должны были соприкоснуться, Брюсов стремительно отдергивал свою назад, собирал пальцы в кулак и кулак прижимал к правому плечу, а сам, чуть-чуть скаля зубы, впивался глазами в повисшую в воздухе руку знакомого. Затем рука Брюсова так же стремительно опускалась и хватала протянутую руку. Пожатие совершалось, но происшедшая заминка, сама по себе мгновенная, вызывала длительное чувство неловкости. Человеку все казалось, что он как-то не вовремя сунулся со своей рукой. Я заметил, что этим странным приемом Брюсов пользовался только на первых порах знакомства и особенно часто применял его, знакомясь с начинающими стихотворцами, с заезжими провинциалами, с новичками в литературе и в литературных кругах.

Вообще, в нем как-то сочеталась изысканная вежливость (впрочем, формальная) с любовью к одергиванию, обуздыванию, запугиванию. Те, кому это не нравилось, отходили в сторону. Другие охотно составляли послушную свиту, которой Брюсов не гнушался пользоваться для укрепления влияния, власти и обаяния. Доходили до анекдотического раболепства. Однажды, приблизительно в 1909 году, я сидел в кафе на Тверском бульваре с А. И. Тиняковым, писавшим посредственные стихи под псевдонимом «Одинокый». Собеседник мой, слегка пьяный, произнес длинную речь, в конце которой воскликнул буквально так:

— Мне, Владислав Фелицианович, на Господа Бога — тьфу! (Тут он

отнюдь не символически плюнул в зеленый квадрат цветного окна). — Был бы только Валерий Яковлевич, ему же слава, честь и поклонение!

Гумилев мне рассказывал, как тот же Тиняков, сидя с ним в Петербурге на «поплавке» и глядя на Неву, вскричал в порыве священного ясновидения:

— Смотрите, смотрите! Валерий Яковлевич шествует с того берега по водам!

\* \* \*

Он не любил людей, потому что прежде всего не уважал их. Это во всяком случае было так в его зрелые годы. В юности, кажется, он любил Коневского. Не плохо он относился к З. Н. Гиппиус. Больше назвать некого. Его неоднократно подчеркнутая любовь к Бальмонту вряд ли может быть названа любовью. В лучшем случае это было удивление Сальери перед Моцартом. Он любил называть Бальмонта братом. М. Волошин однажды сказал, что традиция этих братских чувств восходит к глубокой древности: к самому Каину. В юности, может быть, он любил еще Александра Добролюбова, но впоследствии, когда тот ушел в христианство и народничество, Брюсов перестал его выносить. Добролюбов вел бродяжническую жизнь. Иногда приходил в Москву и по несколько дней жил у Брюсовых: с Надеждой Яковлевной, сестрой Брюсова, его связывали некоторые религиозные мысли. Он вегетарианствовал, ходил с посохом и называл всех братьями и сестрами.

Однажды я застал Брюсова в литературно-художественном кружке. Было часа два ночи. Брюсов играл в *Chemin de fer*. Я удивлялся.

— Ничего не поделаешь, — сказал Брюсов: — я теперь человек бездомный: у нас Добролюбов.

Он не возвращался домой, пока Добролюбов не «уходил».

Борис Садовской, человек умный и хороший, за суховатой сдержанностью прятавший очень доброе сердце, возмущался любовной лирикой Брюсова, называя ее постельной поэзией. Тут он был не прав. В эротике Брюсова есть глубокий трагизм, но не онтологический, как хотелось думать самому автору, — а психологический: не любя и не чтя людей, он ни разу не полюбил ни одной из тех, с кем случалось ему «припадать на ложе». Женщины брюсовских стихов похожи одна на другую, как две капли воды: это потому, что он ни одной не любил, не отличил, не узнал. Возможно, что он действительно чтит любовь. Но

любовниц своих он не замечал.

Мы, как священнослужители,  
Творим обряд —

слова страшные, потому что если «обряд», то решительно безразлично, с кем. «Жрица любви» — излюбленное слово Брюсова. Но ведь лицо у жрицы закрыто, человеческого лица у нее и нет. Одну жрицу можно заменить другой «обряд» останется тот же. И не находя, не умея найти человека во всех этих «жрицах», Брюсов кричит, охваченный ужасом:

Я, дрожа, сжимаю труп!

И любовь у него всегда превращается в пытку:

Где же мы? На страстном ложе  
Иль на смертном колесе?

\* \* \*

Он любил литературу, только ее. Самого себя — тоже только во имя ее. Во истину, он свято исполнил заветы, данные самому себе в годы юности: «не люби, не сочувствуй, сам лишь себя обожай беспредельно» и — «поклоняйся искусству, только ему, безраздельно, бесцельно». Это бесцельное искусство было его идолом, в жертву которому он принес нескольких живых людей, и, надо это признать, — самого себя. Литература ему представлялась безжалостным божеством, вечно требующим крови. Она для него олицетворялась в учебнике истории литературы. Такому научному кирпичу он способен был поклоняться, как священному камню, олицетворению Митры. В декабре 1903 года, в тот самый день, когда ему исполнилось тридцать лет, он сказал мне буквально так:

— Я хочу жить, чтобы в истории всеобщей литературы обо мне было две строчки. И они будут.

Однажды покойная поэтесса Надежда Львова сказала ему о каких-то

его стихах, что они ей не нравятся. Брюсов оскалился своей, столь памятной многим, ласково-злой улыбкой и отвечал:

— А вот их будут учить наизусть в гимназиях, а таких девочек, как вы, будут наказывать, если плохо выучат.

«Нерукотворного» памятника в человеческих сердцах он не хотел. «В века», на зло им, хотел врезаться: двумя строчками в истории литературы (черным по белому), плачем ребят, наказанных за незнание Брюсова, и — бронзовым истуканом на родимом Цветном бульваре.

Его роман с Ниной Петровской был мучителен для обоих, но стороною, в особенности страдающей, была Нина. Закончив «Огненного Ангела», он посвятил книгу Нине и в посвящении назвал ее «много любившей и от любви погибшей». Сам он, однако же, погибать не хотел. Исчерпав сюжет и в житейском, и в литературном смысле, он хотел отстраниться, вернувшись к домашнему уюту, к пухлым, румяным, заботливою рукой приготовленным пирогам с морковью, до которых был великий охотник. Желание порвать навсегда он выказывал с нарочитым бездушием.

С Ниной связывала меня большая дружба. Московские болтуны были уверены, что не только дружба. Над их уверенностью мы не мало смеялись и, по правде сказать, иногда нарочно ее укрепляли — из чистого озорства. Я знал и видел страдания Нины и дважды по этому поводу говорил с Брюсовым. Во время второй беседы я сказал ему столь оскорбительное слово, что об этом он, кажется, не рассказал даже Нине. Мы перестали здороваться. Впрочем, через полгода Нина сгладила нашу ссору. Мы притворились, что ее не было.

Осенью 1911 г., после тяжелой болезни, Нина решила уехать из Москвы навсегда. Наступил день отъезда — 9 ноября. Я отправился на Александровский вокзал. Нина сидела уже в купе, рядом с Брюсовым. На полу стояла откупоренная бутылка коньяку (это был, можно сказать, «национальный» напиток московского символизма). Пили прямо из горлышка, плача и обнимаясь. Хлебнул и я, прослезившись. Это было похоже на проводы новобранцев. Нина и Брюсов знали, что расстаются навеки. Бутылку допили. Поезд тронулся. Мы с Брюсовым вышли из вокзала, сели в сани и молча доехали вместе до Страстного монастыря.

Это было часов в пять. В тот день мать Брюсова справляла свои именины. Года за полтора до этого знаменитый дом на Цветном бульваре был продан, и Валерий Яковлевич снял более комфортабельную квартиру на Первой Мещанской, 32 (он в ней и скончался). Мать же, Матрена Александровна, с некоторыми другими членами семьи, переехала на



Пречистенку, к церкви Успенья на Могильцах. Вечером, после проводов Нины, — отправился я поздравлять.

Я пришел часов в 10. Все были в сборе. Именинница играла в преферанс с Валерием Яковлевичем, с его женой и с Евгенией Яковлевной.

Домашний, уютный, добродушнейший Валерий Яковлевич, только что, между вокзалом и именинами, постригшийся, слегка пахнувший вежеталем, озаренный мягким блеском свечей, — сказал мне, с улыбкой заглядывая в глаза:

— Вот, при каких различных обстоятельствах мы нынче встречаемся!

Я молчал. Тогда Брюсов, стремительно развернув карты веером и как бы говоря: «А, вы не понимаете шуток?» — резко спросил:

— А вы бы что стали делать на моем месте, Владислав Фелицианович?

Вопрос как будто бы относился к картам, но он имел и иносказательное значение. Я заглянул в карты Брюсова и сказал:

— По моему, надо вам играть простые бубны.

И помолчав, прибавил:

— И благодарить Бога, если это вам сойдет с рук.

— Ну, а я сыграю семь треф.

И сыграл.

\* \* \*

Я на своем веку много играл в карты, много видал игроков, и случайных, и профессиональных. Думаю, что за картами люди познаются очень хорошо; во всяком случае, не хуже, чем по почерку. Дело вовсе не в денежной стороне. Самая манера вести игру, даже сдавать, брать карты со стола, весь стиль игры — все это искушенному взгляду говорит очень многое о партнере. Должен лишь указать, что понятия «хороший партнер» и «хороший человек» вовсе не совпадают полностью: напротив того, кое в чем друг другу противоречат, и некоторые черты хорошего человека невыносимы за картами; с другой стороны, наблюдая отличнейшего партнера, иной раз думаешь, что в жизни от него надобно держаться подальше.

В азартные игры Брюсов играл очень — как бы сказать? — не то, чтобы робко, но тупо, бедно, — обнаруживая отсутствие фантазии, неумение угадывать, нечуткость к тому иррациональному элементу, которым игрок в азартные игры должен научиться управлять, чтобы

повелевать ему, как маг умеет повелевать духам. Перед духами игры Брюсов пасовал. Ее мистика была ему недоступна, как всякая мистика. В его игре не было вдохновения. Он всегда проигрывал и сердился, — не за проигрыш денег, а именно за то, что ходил, как в лесу, там, где другие что-то умели видеть. Счастливым игрокам он завидовал тою же завистью, с какой некогда позавидовал поклонникам Прекрасной Дамы:

Они Ее видят! Они Ее слышат!

А он не слышал, не видел.

Зато в игры «коммерческие», в преферанс, в винт, он играл превосходно, — смело, находчиво, оригинально. В стихии расчета он умел быть вдохновенным. Процесс вычисления доставлял ему удовольствие. В шестнадцатом году он мне признавался, что иногда «ради развлечения» решает алгебраические и тригонометрические задачи по старому гимназическому задачнику. Он любил таблицу логарифмов. Он произнес целое «похвальное слово» той главе в учебнике алгебры, где говорится о перестановках и сочетаниях.

В поэзии он любил те же «перестановки и сочетания». С замечательным упорством и трудолюбием он работал годами над книгой, которая не была — да и вряд ли могла быть закончена: он хотел дать ряд стихотворных подделок, стилизаций, содержащих образчики «поэзии всех времен и народов»! В книге должно было быть несколько тысяч стихотворений. Он хотел несколько тысяч раз задушить себя на алтаре возлюбленной Литературы — во имя «исчерпания всех возможностей», из благоговения перед перестановками и сочетаниями.

Написав для книги «Все напевы» (построенной по тому же плану) цикл стихотворений о разных способах самоубийства, он старательно расспрашивал знакомых, не известны ли им еще какие-нибудь способы, «упущенные» в его каталоге.

По системе того же «исчерпания возможностей» написал он ужасную книгу: «Опыты» — собрание бездушных образчиков всех метров и строф. Не замечая своей ритмической нищеты, он гордился внешним, метрическим богатством.

Как он радовался, когда «открыл», что в русской литературе нет стихотворения, написанного чистым пэоном первым! И как простодушно огорчился, когда я сказал, что у меня есть такое стихотворение и было напечатано, только не вошло в мои сборники.

— Почему ж не вошло? — спросил он.

— Плохо, — отвечал я.

— Но ведь это был бы единственный пример в истории русской литературы!

В другой раз не мне было суждено огорчить его. К общеупотребительным рифмам смерть-жердь-твердь он нашел четвертую — умилосердь — и тотчас написал на эти рифмы сонет. Я поздравил его, но пришедший С. В. Шервинский сказал, что «умилосердь» уже есть у Вячеслава Иванова. Брюсов сразу погас и осунулся.

\* \* \*

Быть может, все в жизни лишь средство  
Для ярко-певучих стихов...

Это двустишие Брюсова цитировалось много раз. Расскажу об одном случае, связанном не прямо с этими строчками, но с мыслью, в них выраженной.

В начале 1912 года Брюсов познакомил меня с начинающей поэтессой Надеждой Григорьевной Львовой, за которой он стал ухаживать вскоре после отъезда Нины Петровской. Если не ошибаюсь, его самого познакомила с Львовой одна стареющая дама, в начале девятисотых годов фигурировавшая в его стихах. Она старательно подогревала новое увлечение Брюсова.

Надя Львова была не хороша, но и не вовсе дурна собой. Родители ее жили в Серпухове; она училась в Москве на курсах. Стихи ее были очень зелены, очень под влиянием Брюсова. Вряд ли у нее было большое поэтическое дарование. Но сама она была умница, простая, душевная, довольно застенчивая девушка. Она сильно сутулилась и страдала маленьким недостатком речи: в начале слов не выговаривала букву «к»: говорила, «ак» вместо «как», «оторый», «инжал».

Мы с ней сдружились. Она всячески старалась сблизить меня с Брюсовым, не раз приводила его ко мне, с ним приезжала ко мне на дачу.

Разница в годах между ней и Брюсовым была велика. Он конфузливо молодился, искал общества молодых поэтов. Сам написал книжку стихов почти в духе Игоря Северянина и посвятил ее Наде. Выпустить эту книгу под своим именем он не решился, и она явилась под двусмысленным

титолом: «Стихи Нелли. Со вступительным сонетом Валерия Брюсова». Брюсов рассчитывал, что слова «Стихи Нелли» непосвященными будут поняты, как «Стихи сочиненные Нелли». Так и случилось: и публика, и многие писатели поддались обману. В действительности подразумевалось, что слово «Нелли» стоит не в родительном, а в дательном падеже: стихи к Нелли, посвященные Нелли. Этим именем Брюсов звал Надю без посторонних.

С ней отчасти повторилась история Нины Петровской: она никак не могла примириться с раздвоением Брюсова — между ней и домашним очагом. С лета 1913 г. она стала очень грустна. Брюсов систематически приучал ее к мысли о смерти, о самоубийстве. Однажды она показала мне револьвер — подарок Брюсова. Это был тот самый браунинг, из которого восемь лет тому назад Нина стреляла в Андрея Белого. В конце ноября, кажется — 23 числа, вечером, Львова позвонила по телефону к Брюсову, прося тотчас приехать. Он сказал, что не может, занят. Тогда она позвонила к поэту Вадиму Шершеневичу: «Очень тоскливо, пойдемте в кинематограф». Шершеневич не мог пойти — у него были гости. Часов в 11 она звонила ко мне — меня не было дома. Поздним вечером она застрелилась. Об этом мне сообщили под утро.

Через час ко мне позвонил Шершеневич и сказал, что жена Брюсова просит похлопотать, чтобы в газетах не писали лишнего. Брюсов мало меня заботил, но мне не хотелось, чтобы репортеры копались в истории Нади. Я согласился поехать в «Русские Ведомости» и в «Русское Слово».

Надю хоронили на бедном Миусском кладбище, в холодный, метельный день. Народу собралось много. У открытой могилы, рука об руку, стояли родители Нади, приехавшие из Серпухова, старые, маленькие, коренастые, он — в поношенной шинели с зелеными кантами, она — в старенькой шубе и в приплюснутой шляпке. Никто с ними не был знаком. Когда могилу засыпали, они как были, под руку, стали обходить собравшихся. С напускною бодростью, что-то шепча трясущимися губами, пожимали руки, благодарили. За что? Частица соучастия в брюсовском преступлении лежала на многих из нас, все видевших и ничего не сделавших, чтобы спасти Надю. Несчастные старики этого не знали. Когда они приблизились ко мне, я отошел в сторону, не смея взглянуть им в глаза, не имея права утешать их.

Сам Брюсов на другой день после Надиной смерти бежал в Петербург, а оттуда — в Ригу, в какой-то санаторий. Через несколько времени он вернулся в Москву, уже залечив душевную рану и написав новые стихи, многие из которых посвящались новой, уже санаторной «встрече»... На

ближайшей среде «Свободной Эстетики», в столовой Литературно-Художественного Кружка, за ужином, на котором присутствовала «вся Москва» — писатели с женами, молодые поэты, художники, меценаты и меценатки — он предложил прослушать его новые стихи. Все затаили дыхание — и не напрасно: первое же стихотворение оказалось декларацией. Не помню подробностей, помню только, что это была вариация на тему

Мертвый, в гробе мирно спи,  
Жизнью пользуйся живущий, —

а каждая строфа начиналась словами: «Умершим — мир!» Прослушав строфы две, я встал из-за стола и пошел к дверям. Брюсов приостановил чтение. На меня зашикали: все понимали, о чем идет речь, и требовали, чтобы я не мешал удовольствию.

За дверью я пожалел о своей поездке в «Русское Слово» и «Русские Ведомости».

\* \* \*

Он страстную, неестественную любовью любил заседать, в особенности председательствовать. Заседая — священнодействовал. Резолюция, поправка, голосование, устав, пункт, параграф — эти слова не жили его слух. Открывать заседание, закрывать заседание, предоставлять слово, лишать слова «дискреционным властью председателя», звонить в колокольчик, интимно склоняться к секретарю, прося «занести в протокол» — все это было для него наслаждение, «театр для себя», предвкушение грядущих двух строк в истории литературы. В эпоху 1907–1914 г. он заседал по три раза в день, где надо и где не надо. Заседаниям жертвовал совестью, друзьями, женщинами. В конце девяностых или в начале девятисотых годов, он, декадент, прославленный эпатированием буржуа, любящий только то, что «порочно» и «странно», вздумал, в качестве домовладельца, баллотироваться в гласные городской думы, — московской городской думы тех времен! В качестве председателя дирекции Литературно-Художественного Кружка часами совещался с буфетчиком на тему о завтрашнем дежурном блюде.

Осенью 1914 г. он вздумал справить двадцатилетие литературной

деятельности. И. И. Трояновский и г-жа Неменова-Лунц, музыкантша, составили организационную комиссию. За ужином после очередного заседания «Свободной Эстетики» прибор Брюсова был украшен цветами. Организаторы юбилея по очереди заклинали разных людей сказать речь. Никто не сказал ни слова — время было неподходящее. Брюсов уехал в Варшаву, военным корреспондентом «Русских Ведомостей». Мысли об юбилее он не оставил.

Он был антисемит. Когда одна из его сестер выходила замуж за С. В. Киссина, еврея, он не только наотрез отказался присутствовать на свадьбе, но и не поздравил молодых, а впоследствии ни разу не переступил их порога. Это было в 1909 году.

К 1914-му отношения несколько сгладились. Мобилизованный Самуил Викторович очутился чиновником санитарного ведомства в той самой Варшаве, где Брюсов жил в качестве военного корреспондента. Они иногда видались.

После неудачи московского юбилея Брюсов решил отпраздновать его хоть в Варшаве. Какие-то польские писатели согласились его чествовать. Впоследствии он рассказал мне:

— Поляки — антисемиты куда более последовательные, чем я. Когда они хотели меня чествовать, я пригласил было Самуила Викторовича, но они вычеркнули его из списка, говоря, что с евреем за стол не сядут. Пришлось отказаться от удовольствия видеть Самуила Викторовича на моем юбилее, хоть я даже указывал, что все-таки он мой родственник и поэт.

Отказаться от удовольствия справить юбилей он не мог.

Этот злосчастный юбилей он справил-таки в Москве, в декабре 1924 года. Торжество происходило в Большом театре. По городу были расклеены афиши, приглашающие всех желающих. Более крупными буквами, чем имя самого Брюсова, на них значилось: «С участием Максима Горького». Хотя устроители и, конечно, сам Брюсов отлично знали, что Горький в Мариенбаде и в Россию не собирается.

\* \* \*

Как и почему он сделался коммунистом?

Некогда он разделял идеи самого вульгарного черносотенства. Во время русско-японской войны поговаривал о масонских заговорах и японских деньгах.

В 1905 г. он всячески поносил социалистов, проявляя при этом анекдотическое невежество. Однажды сказал:

— Я знаю, что такое марксизм: грабь что можно и — общность мужей и жен.

Ему дали прочесть эрфуртскую программу. Прочитав, он коротко сказал:

— Вздор.

Я пишу воспоминания, а не критическую статью. Поэтому укажу только вкратце, что такие «левые» стихотворения, как знаменитый «Кинжал», по существу не содержат никакой левизны. «Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза» — это Программа литературная, эстетическая, а не политическая. Карамзин в «Письмах русского путешественника» рассказывает об аристократе, который примкнул к якобинцам. На недоуменные вопросы, к нему обращенные, он отвечал:

— Que faire? J aime les t-t-troubles.

(Аристократ был заика.).

Эти слова можно бы поставить эпиграфом ко всем радикальным стихам Брюсова из эпохи 1905 года. Знаменитый «Каменщик» также не выражал взглядов автора. Это — стилизация, такая же подделка, такое же поэтическое упражнение, как напечатанная тут же детская песенка про палочку-выручалочку, как песня сборщиков («Пожертвуйте, благодетели, на новый колокол») и другие подобные стихи. «Каменщик» точно так же не выражал взглядов самого Брюсова, как написанная в порядке «исчерпания тем и возможностей» «Австралийская песня»:

Кенгуру бежали быстро —  
Я еще быстрее.  
Кенгуру был очень жирен,  
И я его съел.

Самое происхождение «Каменщика» — чисто литературное. Это — не более и не менее, как исправленная редакция стихотворения, написанного еще до рождения Брюсова. Под тем же заглавием оно напечатано в «Лютне», старинном заграничном сборнике запрещенных русских стихов. Кто его автор — я не знаю.

Пока фельетонисты писали статьи об обращении «эстета» Брюсова к «общественности», — Брюсов на чердаке своего дома учился стрелять из револьвера, «на случай, если забастовщики придут грабить». В редакции

«Скорпиона» происходили беседы, о которых Сергей Кречетов сложил не слишком блестящие, но меткие стихи:

Собирались они по вторникам,  
Мудро глаголя.  
Затевали погромы с дворником  
Из Метрополя.<sup>[4]</sup>  
Так трогательно по вторникам,  
В согласии вкусов,  
Сочетался со старшим дворником  
Валерий Брюсов.

В ту же пору его младший брат написал ему латинские стихи с обращением:

*Falsas Valerius, duplex lingua!*

В 1913 г. он был приглашен редактировать литературный отдел «Русской Мысли» — и однажды сказал:

— В качестве одного из редакторов «Русской Мысли», я в политических вопросах во всем согласен с Петром Бернгардовичем (Струве).

Впоследствии, накануне февральской революции, в Тифлисе, на банкете, которым армяне чествовали Брюсова, как редактора сборника «Поэзия Армении», — он встал и к великому смущению присутствующих провозгласил тост «за здоровье Государя Императора, Державного Вождя нашей армии». Об этом рассказывал мне устроитель банкета, П. Н. Макинцян, впоследствии составитель знаменитой «Красной Книги ВЧК». (В 1937 г. он был расстрелян).

\* \* \*

Демократию Брюсов презирал. История культуры, которой он поклонялся, была для него историей «творцов», полубогов, стоящих вне толпы, ее презирающих, ею ненавидимых. Всякая демократическая власть казалась ему либо утопией, либо охлократией, господством черни.



Всякий абсолютизм казался ему силою созидательной, охраняющей и творящей культуру. Поэт, следовательно, всегда на стороне существующей власти, какова бы она ни была, — лишь была бы отделена от народа. Ему, как «гребцу триремы», было

все равно,  
Цезаря влечь иль пирата.

Все поэты были придворными: при Августе, Мecenате, при Людовиках, при Фридрихе, Екатерине, Николае I и т. д. Это была одна из его любимых мыслей.

Поэтому он был монархистом при Николае II. Поэтому, пока надеялся, что Временное Правительство «обуздает низы» и покажет себя «твердою властью», он стремился заседать в каких-то комиссиях и, стараясь поддержать принципы оборончества, написал и издал летом 1917 года небольшую брошюру в розовой обложке, под заглавием: «Как кончить войну?» и с эпиграфом: «Si vis pacem para bellum». Идеей брошюры была «война до победного конца».

После, «октября» он впал в отчаяние. Одна дама, всегда начинавшая свою речь словами: «Валерий Яковлевич говорит, что», — в начале ноября встретила со мной у поэта К. А. Липскерова. Когда хозяин вышел из комнаты распорядиться о чае, дама опасливо посмотрела ему вслед и, наклонясь ко мне, прошептала:

— Валерий Яковлевич говорит, что теперь нами будут править жидаы.

В ту зиму я сам не встречался с Брюсовым, но мне рассказывали, что он — в подавленном состоянии и оплакивает неминуемую гибель культуры. Только летом 1918 года, после разгона учредительного собрания и начала террора, он приободрился и заявил себя коммунистом.

Но это было вполне последовательно, ибо он увидал пред собою «сильную власть», один из видов абсолютизма, — и поклонился ей: она представилась ему достаточною защитой от демоса, низов, черни. Ему ничего не стоило объявить себя и марксистом, — ибо не все ли равно во имя чего — была бы власть.

В коммунизме он поклонился новому самодержавию, которое с его точки зрения было, пожалуй, и лучше старого, так как Кремль все-таки оказался лично для него доступнее, чем Царское Село. Ведь у старого самодержавия не было никакой официально-покровительствуемой эстетической политики, — новое же в этом смысле хотело быть активным.

Брюсову представлялось возможным прямое влияние на литературные дела; он мечтал, что большевики откроют ему долгожданную возможность «направлять» литературу твердыми, административными мерами. Если бы это удалось, он мог бы командовать писателями, без интриг, без вынужденных союзов с ними, — единым окриком. А сколько заседаний, уставов, постановлений! А какая надежда на то, что в истории литературы будет сказано: «в таком-то году повернул русскую литературу на столько-то градусов». Тут личные интересы совпадали с идеями.

\* \* \*

Мечта не осуществилась. Поскольку подчинение литературы оказалось возможным, — коммунисты предпочли сохранить диктатуру за собой, а не передать ее Брюсову, который в сущности остался для них чужим и которому они, несмотря ни на что, не верили. Ему предоставили несколько более или менее видных, постов — не особенно ответственных. Он служил с волевой исправностью, которая всегда была свойственна его работе, за что бы он ни брался. Он изо всех сил «заседал» и «заведывал».

От писательской среды он отмежевался еще резче, чем она от него. Когда в Москве образовался союз писателей, Брюсов занял по отношению к нему позицию, гораздо более резкую и непримиримую, чем занимали настоящие большевики. Помню, между прочим, такую историю. При уничтожении Литературно-Художественного Кружка была реквизирована его библиотека и, как водится, расхищалась. Книги находились в ведении Московского Совета, и Союз писателей попросил, чтобы они были переданы ему. Каменев тогдашний председатель Совета, согласился. Как только Брюсов узнал об этом, он тотчас заявил протест и стал требовать, чтобы библиотека была отдана Лито, совершенно мертвому учреждению, которым он заведывал. Я состоял членом правлений Союза, и мне поручили попытаться уговорить Брюсова, чтобы он отказался от своих притязаний. Я тут же взял телефонную трубку и позвонил к Брюсову. Выслушав меня, он ответил:

— Я вас не понимаю, Владислав Фелицианович. Вы обращаетесь к должностному лицу, стараясь его склонить к нарушению интересов вверенного ему учреждения.

Услышав про «должностное лицо» и «вверенное учреждение», я уже не стал продолжать разговора. Библиотеку перевезли в Лито.

К несчастью, ревность к службе, заходила у Брюсова и еще много

далее. В марте 1920 г. я заболел от недоедания и от жизни в нетопленном подвале. Пролежав месяца два в постели и прохворав все лето, в конце ноября я решил переехать в Петербург, где мне обещали сухую комнату. В Петербурге я снова пролежал с месяц, а так как есть мне и там было нечего, то я принялся хлопотать о переводе моего московского писательского пайка в Петербург. Для этого мне пришлось потратить месяца три невероятных усилий, при чем я все время натыкался на какое-то невидимое, но явственно ощутимое препятствие. Только спустя два года я узнал от Горького, что препятствием была некая бумага, лежавшая в петербургском академическом центре. В этой бумаге Брюсов конфиденциально сообщал, что я — человек неблагонадежный. Примечательно, что даже «по долгу службы» это не входило в его обязанности.<sup>[5]</sup>

Несмотря на все усердие, большевики не ценили его. При случае, попрекали былой принадлежностью к «буржуазной» литературе. Его стихи, написанные в полном соответствии с видами начальства, все-таки были ненужны, потому что не годились для прямой агитации. Дело в том, что, пишучи на заказные темы и очередные лозунги, в области формы Брюсов оставался свободным. Я думаю, что тщательное формальное исследование коммунистических стихов Брюсова показало бы в них напряженную внутреннюю работу, клонящуюся к попытке сломать старую гармонию, «обрести звуки новые». К этой цели Брюсов шел через сознательную какофонию. Был ли он прав, удалось ли бы ему чего-нибудь достигнуть, — вопрос другой. Но именно наличие этой работы сделало его стихи переутонченными до одеревянения, трудно усвояемыми, недоступными для примитивного понимания. Как агитационный материал они не годятся — и потому Брюсов-поэт оказался по существу не нужным. Оставался Брюсов-служака, которого и гоняли с «поста» на «пост», порой доходя до вольного или невольного издевательства. Так, например, в 1921 г. Брюсов совмещал какое-то высокое назначение по Наркомпросу — с не менее важной должностью в Гуконе, то есть.... в Главном Управлений по Коннозаводству.<sup>[6]</sup> Что ж? Он честно трудился и там и даже, идя в ногу с нэпом, выступал в печати, ведя кампанию за восстановление тотализатора.

Брюсов, конечно, видел свое полное одиночество. Одно лицо, близкое к нему, рассказывало мне в начале 1922 года, что он очень одинок, очень мрачен и угнетен.

Еще с 1908, кажется, года он был морфинистом. Старался от этого отделаться, — но не мог. Летом 1911 г. д-ру Г. А. Койранскому удалось на время отвлечь его от морфия, но в конце концов из этого ничего не вышло.

Морфий сделался ему необходим. Помню, в 1917 г., во время одного разговора я заметил, что Брюсов постепенно впадает в какое-то оцепенение, почти засыпает. Наконец, он встал, не надолго вышел в соседнюю комнату — и вернулся помолодевшим.

В конце 1919 г. мне случилось сменить его на одной из служб. Заглянув в пустой ящик его стола, я нашел там иглу от шприца и обрывок газеты с кровавыми пятнами. Последние годы он часто хворал, — по-видимому, на почве интоксикации.

Одинокий, измученный, обрел он, однако, и неожиданную радость. Под конец дней взял на воспитание маленького племянника жены и ухаживал за ним с нежностью, как некогда за котенком. Возвращался домой, нагруженный сладостями и игрушками. Расстелив ковер, играл с мальчиком на полу.

Прочитав известие о смерти Брюсова, я думал, что он покончил с собой. Быть может, в конце концов так и было бы, если бы смерть сама не предупредила его.

*Сорренто, 1924.*

## Андрей Белый

В 1922 году, в Берлине, даря мне новое издание «Петербурга», Андрей Белый на нем надписал: «С чувством конкретной любви и связи сквозь всю жизнь».

Не всю жизнь, но девятнадцать лет судьба нас сталкивала на разных путях: идейных, литературных, житейских. Я далеко не разделял всех воззрений Белого, но он повлиял на меня сильнее кого бы то ни было из людей, которых я знал. Я уже не принадлежал к тому поколению, к которому принадлежал он, но я застал его поколение еще молодым и деятельным. Многие люди и обстоятельства, сыгравшие заметную роль в жизни Белого, оказались таковы же и по отношению ко мне.

По некоторым причинам я не могу сейчас рассказать о Белом все, что о нем знаю и думаю. Но и сокращенным рассказом хотел бы я не послужить любопытству сегодняшнего дня, а сохранить несколько истинных черт для истории литературы, которая уже занимается, а со временем еще пристальнее займется эпохой символизма вообще и Андреем Белым в частности. Это желание понуждает меня быть сугубо правдивым. Я долгом своим (не легким) считаю исключить из рассказа лицемерие мысли и боязнь слова. Не должно ждать от меня изображения иконописного, хрестоматийного. Такие изображения вредны для истории. Я уверен, что они и безнравственны, потому что только правдивое и целостное изображение замечательного человека способно открыть то лучшее, что в нем было. Истина не может <быть> низкой, потому что нет ничего выше истины. Пушкинскому «возвышающему обману» хочется противопоставить нас возвышающую правду: надо учиться чтить и любить замечательного человека со всеми его слабостями и порой даже за самые эти слабости. Такой человек не нуждается в прикрасах. Он от нас требует гораздо боле трудного: полноты понимания.

\* \* \*

Меня еще и на свете не было, когда в Москве, на Пречистенском бульваре, с гувернанткой и песиком, стал являться необыкновенно хорошенький мальчик — Боря Бугаев, сын профессора математики, известного Европе учеными трудами, московским студентам —

феноменальной рассеянностью и анекдотическими чудачествами, а первоклассникам — гимназистам — учебником арифметики, по которому я и сам учился впоследствии. Золотые кудри падали мальчику на плечи, а глаза у него были синие. Золотой палочкой по золотой дорожке катил он золотой обруч. Так вечность, «дитя играющее», катит золотой круг солнца. С образом солнца связан младенческий образ Белого.

Профессор Бугаев в ту пору говаривал: «Я надеюсь, что Боря выйдет лицом в мать, а умом в меня». За этими шутливыми словами скрывалась нешуточная семейная драма. Профессор был не только чудак, но и сущий урод лицом. Однажды в концерте, (уже в начале девятисотых годов) Н. Я. Брюсова, сестра поэта, толкнув локтем Андрея Белого, спросила его: «Смотрите, какой человек! Вы не знаете, кто эта обезьяна?» — «Это мой папа» — отвечал Андрей Белый с тою любезнейшей, широчайшей улыбкой совершенного удовольствия, чуть не счастья, которою он любил отвечать на неприятные вопросы.

Его мать была очень хороша собой. На каком-то чествовании Тургенева возле знаменитого писателя сочли нужным посадить первых московских красавиц: то были Екатерина Павлова Леткова, впоследствии Султанова, сотрудница «Русского Богатства», в которую долгие годы был безнадежно влюблен Боборыкин, и Александра Дмитриевна Бугаева. Они сидят рядом и на известной картине К. Е. Маковского «Боярская свадьба», где с Александры Дмитриевны писана сама молодая, а с Екатерины Павловны — одна из дружек. Отца Белого я никогда не видел, а мать застал уже пожилою, несколько полною женщиной со следами несомненной красоты и с повадками записной кокетки. Однажды, заехав с одною родственницей к портнихе, встретил я Александру Дмитриевну. Приподымая широкую тафтяную юбку концами пальчиков, она вертелась перед зеркалом, приговаривая: «А право же, я ведь еще хоть куда!» В 1912 г. я имел случай наблюдать, что сердце ее еще не чуждо волнений.

Физическому несходству супругов отвечало расхождение внутреннее. Ни умом, ни уровнем интересов друг другу они не подходили. Ситуация была самая обыкновенная: безобразный, неряшливый, погруженный в абстракции муж и красивая, кокетливая жена, обуреваемая самыми «земными» желаниями. Отсюда столь же обыкновенный в таких случаях разлад, изо дня в день проявлявшийся в бурных ссорах по всякому поводу. Боря при них присутствовал.

Белый не раз откровенно говорил об автобиографичности «Котика Летаева». Однако, вчитываясь в позднюю прозу Белого, мы без труда открываем, что и в «Петербурге», и в «Котике Летаеве», и в «Преступлении

Николая Летаева», и в «Крещеном китайце», и в «Московском чудаке», и в «Москве под ударом» завязкою служит один и тот же семейный конфликт. Все это — варианты драмы, некогда разыгравшейся в семействе Бугаевых. Не только конфигурация действующих лиц, но и самые образы отца, матери и сына повторяются до мельчайших подробностей. Изображение наименее схожее с действительностью в «Петербурге». Зато в последующих романах оно доходит почти до фотографической точности. Чем зрелее становился Белый, тем упорнее он возвращался к этим воспоминаниям детства, тем более значения они приобретали в его глазах. Начиная с «Петербурга», все политические, философские и бытовые задания беловских романов отступают на задний план перед заданиями автобиографическими и в сущности служат лишь поводом для того, чтобы воскресить в памяти и переосознать впечатления, поразившие в младенчестве.<sup>[7]</sup> Не только нервы, но и самое воображение Андрея Белого были раз навсегда поражены и — смею сказать — потрясены происходившими в доме Бугаевых «житейскими грозами», как он выражается. Эти грозы оказали глубочайшее влияние на характер Андрея Белого и на всю его жизнь.

В семейных бурях он очутился листиком или песчинкою: меж папой, уродом и громовержцем, окутанным облаком черной копоты от швыряемой об пол керосиновой лампы, — и мамочкой, легкомысленной и прелестной, навлекающей на себя гнев и гибель, как грешные жители Содомы и Гоморры. Первичное чувство в нем было таково: папу он боялся и втайне ненавидел до очень сильных степеней ненависти: не даром потенциальные или действительные преступления против отца (вплоть до покушения на отцеубийство) составляют фабульную основу всех перечисленных романов. Мамочку он жалел и ею восторгался почти до чувственного восторга. Но чувства эти, сохраняя всю остроту, с годами осложнялись чувствами вовсе противоположными. Ненависть к отцу, смешиваясь с почтением к его уму, с благоговейным изумлением перед космическими пространствами и математическими абстракциями, которые вдруг раскрывались через отца, оборачивалась любовью. Влюбленность в мамочку уживалась с нелестным представлением об ее уме и с инстинктивным отвращением к ее отчетливой, пряной плотскости.

Каждое явление, попадая в семью Бугаевых, подвергалось противоположным оценкам со стороны отца и со стороны матери. Что принималось и одобрялось отцом, то отвергалось и осуждалось матерью — и наоборот. «Раздираемый», по собственному выражению, между родителями, Белый по всякому поводу переживал относительную правоту и

неправоту каждого из них. Всякое явление оказывалось двусмысленно, раскрывалось двусторонне, двусмысленно. Сперва это ставило в тупик и пугало. С годами вошло в привычку и стало модусом отношения к людям, к событиям, к идеям. Он полюбил совместимость несовместимого, трагизм и сложность внутренних противоречий, правду в неправде, может быть — добро в зле и зло в добре. Сперва он привык таить от отца любовь к матери (и ко всему «материнскому»), а от матери любовь к отцу (и ко всему «отцовскому») — и научился понимать, что в таком притворстве нет внутренней лжи. Потом ту же двойственность отношения стал он переносить на других людей — и это создало ему славу двуличного человека. Буду вполне откровенен: нередко он и бывал двуличен, и извлекал из двуличия ту выгоду, которую оно иногда может дать. Но в основе, в самой природе его двуличия не было ни хитрости, ни оппортунизма. И то, и другое он искренно ненавидел. Но в людях, которых любил, он искал и, разумеется, находил основания их не любить. В тех, кого не любил или презирал, он не боялся почуять доброе и порою бывал обезоружен до нежности. Собираясь действовать примирительно вдруг вскипал и раздражался бешеными филиппиками; собираясь громить и обличать — внезапно оказывался согласен с противником. Случалось ему спохватываться, когда уже было поздно, когда дорогой ему человек становился врагом, а презираемый лез с объятиями. Порой он лгал близким и открывал душу первому встречному. Но и во лжи нередко высказывал он только то, что казалось ему «изнанкою правды», а в откровенностях помалкивал «о последнем».

В сущности, своему «раздиранию» между родителями он был обязан и будущим строем своих воззрений. Отец хотел сделать его своим учеником и преемником — мать боролась с этим намерением музыкой и поэзией: не потому, что любила музыку и поэзию, а потому, что уж очень ненавидела математику. Чем дальше, тем Белому становилось яснее, что все «позитивное», близкое отцу, близко и ему, но что искусство и философия требуют примирения с точными знаниями — «иначе и жить нельзя». К мистике, а затем к символизму он пришел трудным путем примирения позитивистических тенденций девятнадцатого века с философией Владимира Соловьева. Не даром прежде, чем поступить на филологический факультет, он окончил математический. Всего лучше об этом рассказано им самим. Я только хотел указать на ранние биографические истоки его позднейших воззрений и всей его литературной судьбы.



Я познакомился с ним в эпоху его романа с Ниной Петровской, точнее — в ту самую пору, когда совершался между ними разрыв.

Женщины волновали Андрея Белого гораздо сильнее, чем принято о нем думать. Однако, в этой области с особенною наглядностью проявлялась и его двойственность, о которой я только что говорил. Тактика у него всегда была одна и та же: он чаровал женщин своим обаянием, почти волшебным, являясь им в мистическом ореоле, заранее как бы исключаящую всякую мысль о каких-либо чувственных домогательствах с его стороны. Затем он внезапно давал волю этим домогательствам, и если женщина, пораженная неожиданностью, а иногда и оскорбленная, не отвечала ему взаимностью, он приходил в бешенство. Обратно: всякий раз, как ему удавалось добиться желаемого результата, он чувствовал себя оскверненным и запятнанным и тоже приходил в бешенство. Случалось и так, что в последнюю минуту перед «падением» ему удавалось бежать, как прекрасному Иосифу, — но тут он негодовал уже вдвое: и за то, что его соблазнили, и за то, что все-таки недособлазнили.

Нина Петровская пострадала за то, что стала его возлюбленной. Он с нею порвал в самой унижительной форме. Она сблизилась с Брюсовым, чтобы отомстить Белому — и в тайной надежде его вернуть, возбуждив его ревность.

В начале 1906 года, когда начиналось «Золотое Руно», однажды у меня были гости. Нина и Брюсов пришли задолго до всех. Брюсов попросил разрешения удалиться в мою спальню, чтобы закончить начатые стихи. Через несколько времени он вышел оттуда и попросил вина. Нина отнесла ему бутылку коньяку. Через час или больше, когда гости уже собрались, я заглянул в спальню и застал Нину с Брюсовым сидящими на полу и плачущими, бутылку допитой, а стихи конченными. Нина шепнула, чтобы за ужином я попросил Брюсова прочесть новые стихи. Ничего не подозревая (я тогда имел очень смутное понятие о том, что происходит между Ниной, Белым и Брюсовым), я так и сделал. Брюсов сказал, обращаясь к Белому:

— Борис Николаевич, я прочту подражание вам.

И прочел. У Белого было стихотворение «Предание», в котором иносказательно и эвфемистически изображалась история разрыва с Ниной. Этому «Преданию» Брюсов и подражал в своих стихах, сохранив форму и стиль Белого, но придав истории новое окончание и представив роль

Белого в самом жалком виде. Белый слушал, смотря в тарелку. Когда Брюсов кончил читать, все были смущены и молчали. Наконец, глядя Белому прямо в лицо и скрестив по обычаю руки, Брюсов спросил своим самым гортанным и клекочущим голосом:

— Похоже на вас, Борис Николаевич?

Вопрос был двусмысленный: он относился разом и к стилю брюсовского стихотворения, и к поведению Белого. В крайнем смущении, притворяясь, что имеет в виду только поэтическую сторону вопроса и не догадывается о подоплеке, Белый ответил с широчайшей своей улыбкой:

— Ужасно похоже, Валерий Яковлевич! И начал было рассыпаться в комплиментах, но Брюсов резко прервал его:

— Тем хуже для вас!

Зная о моей дружбе с Ниной, Белый считал, что чтение было сознательно мною подстроено в соучастии с Брюсовым. Мы с Белым встречались, но он меня сторонился. Я уже знал, в чем дело, но не оправдывался: отчасти потому, что не знал, как начать разговор, отчасти из самолюбия. Только спустя два года без малого мы объяснились — при обстоятельствах столь же странных, как все было странно в нашей тогдашней жизни.

\* \* \*

В 1904 г. Белый познакомился с молодым поэтом, которому суждено было стать одним из драгоценнейших русских поэтов. Их личные и литературные судьбы оказались связаны навсегда. В своих воспоминаниях Белый изобразил историю этой связи в двух версиях, взаимно исключающих друг друга и одинаково неправдивых. Будущему биографу обоих поэтов придется затратить не мало труда на восстановление истины.

Поэт приехал в Москву с молодой женой, уже знакомой некоторым московским мистикам, друзьям Белого, и уже окруженной их восторженным поклонением, в котором придавленный эротизм бурлил под соблазнительным и отчасти лицемерным покровом мистического служения Прекрасной Даме. Белый тотчас поддался общему настроению, и жена нового друга стала предметом его пристального внимания. Этому вниманию мистики покровительствовали и раздували его. Потом не нужно было и раздувать — оно превратилось в любовь, которая, в сущности, и дала толчок к разрыву с Ниной Петровской. Я не берусь в точности изложить историю этой любви, протекавшую то в Москве, то в Петербурге,

то в деревне, до крайности усложненную сложными характерами действующих лиц, своеобразным строем символистского быта и, наконец, многообразными событиями литературной, философской и даже общественной жизни, на фоне которых она протекла с которыми порой тесно переплеталась и на которые в свою очередь влияла. Скажу суммарно: история этой любви сыграла важную роль в литературных отношениях той эпохи, в судьбе многих лиц, непосредственно в ней даже не замешанных и в конечном счете — во всей истории символизма. Многие в ней еще и теперь не ясно. Белый рассказывал мне ее неоднократно, но в его рассказах было вдоволь противоречий, недомолвок, вариантов, нервического воображения. Подчеркиваю, что его устные рассказы значительно рознились от печатной версии, изложенной в его воспоминаниях.

По соображении всех данных, история романа представляется мне в таком виде. По-видимому, братские чувства, первоначально предложенные Белым, были приняты дамою благосклонно. Когда же Белый, по обыкновению, от братских чувств перешел к чувствам иного оттенка, задача его весьма затруднилась. Быть может, она оказалась бы вовсе неразрешимой, если бы не его ослепительное обаяние, которому, кажется, нельзя было не поддаться. Но в тот самый момент, когда его любовные домогательства были близки к тому, чтобы увенчаться успехом, неизбывная двойственность Белого, как всегда, прорвалась наружу. Он имел безумие уверить себя самого, что его неверно и «дурно» поняли, — и то же самое объявил даме, которая, вероятно, не мало выстрадала пред тем, как ответить ему согласием. Следствие беловского отступления не трудно себе представить. Гнев и презрение овладели той, кого он любил. И она отплатила ему стократ обиднее и больнее, чем Нина Петровская, которой она была во столько же раз выносливее и тверже. Что же Белый? Можно сказать с уверенностью, что с этого-то момента он и полюбил по настоящему, всем существом и по моему глубокому убеждению — навсегда. Потом еще были в его жизни и любви, и быстрые увлечения, но та любовь сохранилась сквозь все и поверх всего. Только ту женщину, одну ее, любил он в самом деле. С годами, как водится, боль притупилась, но долго она была жгучей. Белый страдал неслыханно, переходя от униженного смирения к бешенству и гордыне, — кричал, что отвергнуть его любовь есть кощунство. Порою страдание подымало его на очень большие высоты духа — порою падал он до того, что, терзаясь ревностью, литературно мстил своему сопернику, действительному или воображаемому. Он провел несколько месяцев за границей — и вернулся с неутоленным страданием и «Кубком метелей» — слабейшею из его

симфоний, потому что она была писана в надрыве.

\* \* \*

В августе 1907 года из-за личных горестей поехал я в Петербург на несколько дней — и застрял надолго: не было сил вернуться в Москву. С литераторами я виделся мало и жил трудно. Ночами слонялся по ресторанам, игорным домам и просто по улицам, а днем спал. Вдруг приехала Нина Петровская, гонимая из Москвы неладами с Брюсовым и минутной, угарной любовью к одному молодому петербургскому беллетристу, которого «стилизированные» рассказы тогда были в моде. Брюсов за ней приезжал, пытался вернуть в Москву — она не сразу поехала. Изредка вместе коротали мы вечера — признаться, неврастенические. Она жила в той самой Английской гостинице, где впоследствии покончил с собой Есенин.

28 сентября того года Блок писал своей матери из Петербурга: «Мама, я долго не пишу и мало пишу от большого количества забот — крупных и мелких. Крупные касаются Любы,<sup>[8]</sup> Натальи Николаевны<sup>[9]</sup> и Бори. Боря приедет ко мне скоро. Он мне все ближе и ужасно несчастен». Наконец, Белый приехал, чтобы вновь быть отвергнутым. Встретились мы случайно. Однажды, после литературного собрания, на котором Бунин читал по рукописи новый рассказ заболевшего Куприна (это был «Изумруд»), я вышел на Невский. Возле Публичной Библиотеки пристала ко мне уличная женщина. Чтобы убить время, я предложил угостить ее ужином. Мы зашли в ресторанчик. На вопрос, как ее зовут, она ответила странно:

— Меня все зовут **бедная Нина**. Так зовите и вы.

Разговор не клеился. Бедная Нина, щупленькая брюнетка с коротким носиком, устало делала глазки и говорила, что ужас как любит мужчин, а я подумывал, как будет скучно от нее отделяться. Вдруг вошел Белый, возбужденный и не совсем трезвый. Он подсел к нам, и за бутылкою коньяку мы забыли о нашей собеседнице. Разговорились о Москве. Белый, размягченный вином, признался мне в своих подозрениях о моей «провокации» в тот вечер, когда Брюсов читал у меня стихи. Мы объяснились, и прежний лед между нами был сломан. Ресторан между тем закрывали, и Белый меня повез в одно «совсем петербургское место», как он выразился. Мы приехали куда-то в конец Измайловского проспекта. То был низкосортный клуб. Необыкновенно почтенный мужчина с седыми баками, которого все звали полковником, нас встретил. Белый меня

рекомендовал, и заплатив по трешнице, которая составляла вернейшую рекомендацию, мы вошли в залу. Приказчики и мелкие чиновники в пиджачках отплясывали кадриль с девицами, одетыми (или раздетыми) цыганками и наядами. Потом присуждались премии за лучшие костюмы — вышел небольшой скандал, кого-то обидели, кто-то ругался. Мы спросили вина и просидели в «совсем петербургском месте» до рыжего петербургского рассвета. Расставаясь, условились пообедать в «Вене» с Ниной Петровской.

Обед вышел мрачный и молчаливый. Я сказал:

— Нина, в вашей тарелке, кажется, больше слез, чем супа.

Она подняла голову и ответила:

— Меня надо звать **бедная Нина**. Мы с Белым переглянулись — о женщине с Невского Нина ничего не знала. В те времена такие совпадения для нас много значили.

Так и кончился тот обед — в тяжелом молчании. Через несколько дней, зайдя к Белому (он жил на Васильевском острове, почти у самого Николаевского моста), увидел я круглую шляпную картонку. В ней лежали атласное красное домино и черная маска. Я понял, что в этом наряде Белый являлся в «совсем петербургском месте». Потом домино и маска явились в его стихах, а еще позже стали одним из центральных образов «Петербургга».

Несколько дней спустя после нашего обеда Нина уехала в Москву, а в самом конце октября (если мне память не изменяет) тронулись и мы с Белым. На станциях он пил водку, а в Москве прожил дня два — и кинулся опять в Петербург. Не мог жить ни с **нею**, ни без **нее**.

\* \* \*

Четыре года, протекавшие после того, мне помнятся благодарно: годами, смею сказать, нашей дружбы. Белый тогда был в кипении: сердечном и творческом. Тогда дописывался им «Пепел», писались «Урна», «Серебряный Голубь», важнейшие статьи «Символизма». На это же время падают и самые резкие из его полемических статей, о тоне которых он потом жалел часто, о содержании — никогда. Тогда же он учинял и самые фантастические из публичных своих скандалов, — однажды на сцене Литературно-Художественного Кружка пришлось опустить занавес, чтобы слова Белого не долетали до публики. За то в наших встречах он оборачивался другой стороной. Приходил большею частью по утру, и мы

иногда проводили вместе весь день, то у меня, то гуляя: в сквере у Храма Христа Спасителя, в Ново-Девичьем монастыре; однажды ездили в Петровско-Разумовское, в грот, связанный с убийством студента Иванова. Белый умел быть и прост, и уютен: *gemutlich* — по любимому его слову. Разговоры его переходили в блистательные импровизации и всегда были как-то необыкновенно окрыляющие. Любил он и просто рассказывать: о семье Соловьевых, о пророческих зорях 1900 года, о профессорской Москве, которую с бешенством и комизмом изображал в лицах. Случалось — читал только что написанное и охотно выслушивал критические возражения, причем был в общем упрям. Лишь раз удалось мне уговорить его: выбросить первые полторы страницы «Серебряного Голубя». То был слепок с Гоголя, написанный, очевидно, лишь для того, чтобы разогнать перо.

Разговоры специально стихотворческие велись часто. Нас мучил вопрос: чем, кроме инструментовки, обусловлено разнозвучание одного и того же размера? Летом 1908 г., когда я жил под Москвой, он позвонил мне по телефону, крича со смехом:

— Если свободны, скорей приезжайте в город. Я сам приехал сегодня утром. Я сделал открытие! Ей-Богу, настоящее открытие, вроде Архимеда!

Я, конечно, поехал. Был душный вечер. Белый встретил меня загорелый и торжествующий, в русской рубашке с открытым воротом. На столе лежала гигантская кипа бумаги, разграфленной вертикальными столбиками. В столбиках были точки, причудливо связанные прямыми линиями. Белый хлопал по кипе тяжелой своей ладонью:

— Вот вам четырехстопный ямб. Весь тут, как на ладони. Стихи одного метра разнятся ритмом. Ритм с метром не совпадает и определяется пропуском метрических ударений. «Мой дядя самых честных правил» — четыре ударения, а «И кланялся непринужденно» — два: ритмы разные, а метр все тот же, четырехстопный ямб.

Теперь все это стало азбукой. В тот день это было открытием, действительно простым и внезапным, как архимедово. Закону несовпадения метра и ритма должно быть в поэтике присвоено имя Андрея Белого. Это открытие в дальнейшей разработке имеет несовершенства, о которых впоследствии было много писано. Тогда, на первых порах, разобраться в них было труднее. Однако, у меня с Белым тотчас начались препирательства по конкретному поводу. Как раз в то время он готовил к печати «Пепел» и «Урну» — и вдруг принялся коренным образом перерабатывать многие стихотворения, подгоняя их ритм к недавно открытым формулам. Разумеется, их ритмический узор, взятый в

отвлечении, стал весьма замечателен. Но в целом стихи сплошь и рядом оказывались испорчены. Сколько ни спорил я с Белым ничего не помогало. Стихи вошли в его сборники в новых редакциях, которые мне было больно слышать. Тогда-то и начал я настаивать на необходимости изучения ритмического содержания не иначе, как в связи с содержанием смысловым. Об этом шли у нас пререкания то с глазу на глаз, то в кружке ритмистов, который составилась при издательстве «Мусагет». Вне-смысловая ритмика мне казалась ложным и вредным делом. Кончилось тем, что я перестал ходить на собрания.

Белый в ту пору был в большой моде. Дамы и барышни его осаждали. Он с удовольствием кружил головы, но заставлял штудировать Канта — особ, которым совсем не того хотелось.

— Она мне цветочек, а я ей: сударыня, если вы так интересуетесь символизмом, то посидите-ка сперва над «Критикой чистого разума»!

Или:

— Ах, что за прелесть эта милейшая мадмуазель Штаневич! Я от нее в восторге!

— Борис Николаевич, да ведь она Станевич, а не Штаневич!

— Да ну, в самом деле? А я ее все зову Штаневич. Как вы думаете, она не обиделась?

Неделю спустя опять: — Ах, мадмуазель Штаневич!

— Борис Николаевич! Станевич!

— Боже мой! Неужели? Какое несчастье!

А у самого глаза веселые и лживые.

Иногда у него на двери появлялась записка: «Б. Н. Бугаев занят и просит не беспокоить».

— Это я от девиц, — объяснял он, но не всегда на сей счет был правдив. Мне жаловался: «Надоел Пастернак». Полагаю, что Пастернаку — «Надоел Ходасевич».

Однажды — чуть ли не в ярости: — Нет, вы подумайте, вчера ночью, в метель, возвращаюсь домой, а Мариэтта Шагинян сидит у подъезда на тумбе, как дворник. Надоело мне это! — А сам в то же время писал ей длинейшие философические письма, из благодарности за которые бедная Мариэтта, конечно, готова была хоть замерзнуть.

В 1911 г. я поселился в деревне, и мы стали реже видеться. Потом Белый женился, уехал в Африку, ненадолго вернулся в Москву и уехал опять: в Швейцарию, к Рудольфу Штейнеру. Перед самой войной пришло от него письмо, бодрое, успокоенное, с рассказом о мускулах, которые он себе набил, работая резчиком по дереву при постройке Гетеанума. Я думал,

что, наконец, он счастлив.

\* \* \*

В тот вечер, когда в Москве, получилось по телефону известие об убийстве Распутина, Гершензон повел меня к Н. А. Бердяеву. Там обсуждались события. Там, после долгой разлуки, я впервые увидел Белого. Он был без жены, которую оставил в Дорнахе. С первого взгляда я понял, что ни о каком его успокоении нечего говорить. Физически огрубелый, с мозолистыми руками, он был в состоянии крайнего возбуждения. Говорил мало, но глаза, ставшие из синих бледно-голубыми, то бегали, то останавливались в каком-то ужасе. Облысевшее темя с пучками полуседых волос казалось мне медным шаром, который заряжен миллионами вольт электричества. Потом он приходил ко мне рассказывать о каких-то шпионах, провокаторах, темных личностях, преследовавших его и в Дорнахе, и во время переезда в Россию. За ним подглядывали, его выслеживали, его хотели сгубить в прямом смысле и еще в каких-то смыслах иных.

Эта тема, в сущности граничащая с манией преследования, была ему всегда близка. По моему глубокому убеждению, возникла она еще в детстве, когда казалось ему, что какие-то темные силы хотят его погубить, толкая на преступление против отца. Чудовища, которые были и подстрекателями, и Эринниями потенциального отцеубийства, Белый на самом деле носил в себе, но инстинкт самосохранения заставил его отыскивать их вовне, чтобы на них сваливать вину за свои самые темные помыслы, вожделения, импульсы. Все автобиографические романы, о которых говорено выше, начиная с «Петербурга» и кончая «Москвой под ударом», полны этими отвратительными уродами, отчасти вымышленными, отчасти фантастически пересозданными из действительности. Борьба с ними, то есть с носимым в душе зародышем предательства и отцеубийства, сделалась на всю жизнь основной, главной, центральной темой всех романов Белого, за исключением «Серебряного Голубя». Ни с революцией, ни с войной эта тема по существу не связана и ни в каком историческом обрамлении не нуждается. В «Котике Летаеве», в «Преступлении Николая Летаева» и в «Крещеном китайце» Белый без него и обошелся. С событиями 1905 и 1914 гг. связаны только «Петербург», «Московский чужак» и «Москва под ударом». Но для всякого, кто читал последние два романа, совершенно очевидно, что в них эта связь грубейшим образом



притянута за волосы. «Московского чудака» и «Москву под ударом» Белый писал в середине двадцатых годов, в советской России. И в тексте, и в предисловии он изо всех сил подчеркивал, будто главный герой обоих романов, математик Коробкин, олицетворяет «свободную по существу науку», против которой ведет страшную интригу капиталистический мир, избравший своим орудием Митю, коробкинского сына. В действительности до всей этой абсолютно неправдоподобной «концепции» Белому не было никакого дела. Его истинной целью было — дать очередной вариант своей излюбленной темы о Преступлении против отца. Темные силы, толкающие Митю на преступление, наряжены в маски капиталистических демонов единственно потому, что этого требовал «социальный заказ». Замечательно, что «Московский чудака» и «Москва под ударом» должны были, по заявлению Белого составить лишь начало обширного цикла романов, который, однако, не был закончен, так же, как цикл, посвященный истории Николая Летаева. Почему? Потому что в обоих случаях Белый охладевал к своему замыслу тотчас после того, как была написана единственно важная для него часть — о преступлении сына против отца.

Только в «Петербурге», самом раннем из романов этой «эдиповской» серии, тема революции 1905 года действительно занимала Белого. Однако, по его собственным словам первая мысль связать личную тему с политической возникла и в «Петербурге» потому, что в политических событиях той эпохи прозвучал знакомый Белому с детства мотив подстрекательства, провокации. По своей неизменной склонности к чертежам он изображал структуру «Петербурга» в виде двух равных окружностей, из которых одна изображала личную, другая политическую тему; вследствие очень незначительного, гораздо менее радиуса, расстояния между центрами, большая часть площади у этих окружностей оказывалась общей; она-то и представляла собою тему провокации, объединяющей обе стороны замысла и занимающей в нем центральное место.

«Петербург» был задуман как раз в те годы, когда провокационная деятельность департамента полиции была вскрыта и стала предметом общего негодования и отвращения. У Белого к этим чувствам примешивался и даже над ними доминировал ужас порядка вполне мистического. Полиция подстрекала преступника, сама же за ним следила и сама же его карала, то есть действовала совершенно так, как темные силы, на которые Белый сваливал свои отцеубийственные помыслы. Единство метода наводило его мысль, точнее сказать — его чувство, на единство источника. Политическая провокация получала в его глазах черты

демонические в самом прямом смысле слова. За спиной полиции, от директора департамента до простого дворника, ему чудились инспираторы потустороннего происхождения. Обывательский страх перед городовым, внушенный ему еще в детстве, постепенно приобретал чудовищные размеры и очертания. Полиция всех родов, всех оттенков, всех стран повергала его в маниакальный ужас, в припадках которого он доходил до страшных, а иногда жалких выходок. Ненастной весенней ночью, в пустынном немецком городке Сааров, мы возвращались от Горького к себе в гостиницу. Я освещал дорогу карманным фонариком. Единственный сааровский ночной сторож, старый инвалид, замученный мраком, дождем и скукой, брел по дороге шагах в десяти от нас, — должно быть, привлеченный огнем, как ночная бабочка. Вдруг Белый его увидел:

— Кто это?

— Ночной сторож.

— Ага, значит — полиция? За нами следят?

— Да нет же, Борис Николаевич, ему просто скучно ходить одному.

Белый ускорил шаги — сторож отстал. На нашу беду в гостинице, куда примчались мы чуть не рысью, пришлось долго звонить. Тем временем подошел сторож. Он стоял поодаль в своем резиновом плаще с острым куколом. Наконец, он сделал несколько шагов к нам и спросил, в чем дело. Вместо ответа Белый изо всех сил принялся дубасить в дверь своею дубинкой. Нам отперли. Белый стоял посреди передней, еле дыша и обливаясь потом.

\* \* \*

Военный коммунизм пережил он, как и все мы, в лишениях и болезнях. Ютился в квартире знакомых, топя печурку своими рукописями, голодая и стоя в очередях. Чтобы прокормить себя с матерью, уже больною и старою, мерил Москву из конца в конец, читал лекции в Пролеткульте и в разных еще местах, целыми днями просиживал в Румянцовском музее, где замерзали чернила, исполняя бессмысленный заказ Театрального отдела (что-то о театрах в эпоху французской революции), исписывая вороха бумаги, которые, наконец, где-то и потерял. В то же время он вел занятия в Антропософском обществе, писал «Записки чудака», книгу по философии культуры, книгу о Льве Толстом и другое.

С конца 1920 г. я жил в Петербурге. Весной 1921 г. переселился туда и он, там писателям было вольготнее. Ему дали комнату в гостинице на улице

Гоголя, почти против бывшего ресторана «Вена», где, почти четырнадцать лет тому назад мы обедали с Ниной Петровской. Он сторонился от поэтического Петербурга, подолгу гостя в Царском Селе, у Иванова-Разумника. Возобновились наши свидания и прогулки — теперь уж по петербургским набережным. В белые ночи, в неизъяснимо прекрасном Петербурге тех дней, ходили мы на тихое поклонение Медному Всаднику. Однажды я водил Белого к тому дому, где умер Пушкин.

Как-то раз вбежал он ко мне веселый и светлый, каким я давно уже его не видал. Принес поэму «Первое свидание» — лучшее из всего, что написано им в стихах. Я был первым слушателем поэмы — да простится мне это горделивое воспоминание. Да простится мне и другое: в те самые дни написал он и первую свою статью обо мне — для пятого выпуска «Записок Мечтателей». То был последний выпуск, проредактированный еще Блоком, но вышедший уже после смерти Блока.

Он давно мечтал выехать за границу. Говорил, что хочется отдохнуть, но были у него и другие причины, о которых он мне тогда не сообщал и о которых я только догадывался. Большевики не выпускали его. Он нервничал до того, что пришлось обратиться к врачу. Он подумывал о побеге — из этого тоже ничего не вышло да и не могло выйти: он сам всему Петербургу разболтал «по секрету», что собрался бежать. Его стали спрашивать: скоро ли вы бежите? Из этого он, разумеется, заключил, что чрезвычайка за ним следит, и разумеется — доходил до приступов дикого страха. Наконец, после смерти Блока и расстрела Гумилева, большевики смутились и дали ему заграничный паспорт.

\* \* \*

Еще в начале 1919 года он получил уведомление о том, что отныне порываются личные узы меж ним и некоторыми дорогими ему обитателями Дорнаха.

Этого удара он ожидал, но ему хотелось все-таки объясниться, кое что выяснить в отношениях. Потому-то и рвался за границу.

Вторая цель поездки, тоже связанная с Дорнахом, была важнее. Надо иметь в виду, что значение и вес антропософского движения Белый чудовищно преувеличивал. Ему казалось, что от антропософов вообще и от Рудольфа Штейнера в особенности что-то в мире зависит. Вот он и ехал сказать братьям-антропософам и их руководителю, «на плече, которого некогда возлежал», о тяжких духовных родах, переживаемых Россией, о

страданиях многомиллионного народа. Открыть им глаза на Россию почитал он своею миссией, а себя — послом от России к антропософии (так он выражался). Самая эта миссия, повторяю, может показаться делом нестоящим. Но Белый смотрел иначе, а нам важна психология Белого.

Что же случилось? По личному поводу с ним не только не захотели объясняться, но и выказали к нему презрение в форме публичной, вызывающей и оскорбительной нестерпимо. Что касается «посольства», дело обернулось еще хуже. Оказалось, что ни д-р Штейнер, ни его окружение просто не намерены заниматься такими преходящими и мелкими вещами, как Россия. Может быть, у Штейнера были и другие причины: он мог ожидать (и оказался бы в этом прав), что Белый отнюдь не ставит знака равенства между Россией и большевиками; меж тем, дело как раз шло к рапальскому договору... Как бы то ни было, миссию Белого Дорнах решил игнорировать, и сам Штейнер явно уклонялся от свидания (чему, опять же, могли быть не только политические причины). Наконец, в каком-то собрании, в Берлине, Белый увидел Штейнера. Подлетел — и услышал подчеркнуто-обывательский вопрос, заданный отечески-снисходительным тоном:

— Na, wie geht's?

Белый понял, что говорить не о чем, и ответил с презрительным бешенством:

— Schwierigkeiten mit dem Wohnungsamt!

Может быть, с того дня он и запил.

Он жил в Цоссене, под Берлином, недалеко от кладбища, в доме какого-то гробовщика.<sup>[10]</sup> Мы встретились летом 1922 г., когда я приехал из России. Теперь он был совсем уже сед. Глаза еще более выцвели — стали почти что белыми.

С осени он переехал в город — и весь русский Берлин стал любопытным и злым свидетелем его истерики. Ее видели, ей радовались, над ней насмехались слишком многие. Скажу о ней покороче. Выражалась она главным образом в пьяных танцах, которым он предавался в разных берлинских Dielen. Не в том дело, что танцевал он плохо, а в том, что он танцевал страшно. В однообразную толчею фокстротов вносил он свои «вариации» — искаженный отсвет неизменного своеобразия, которое он проявлял во всем, за что бы ни брался. Танец в его исполнении превращался в чудовищную мимодраму, порой даже и непристойную. Он приглашал незнакомых дам. Те, которые были посмелее, шли, чтобы позабавиться и позабавить своих спутников. Другие отказывались — в Берлине это почти оскорбление. Третьим запрещали мужа, отцы. То был

не просто танец пьяного человека: то было, конечно, символическое поправление лучшего в самом себе, кощунство над собой, дьявольская гримаса себе самому — чтобы через себя показать ее Дорнаху. Дорнах не выходил у него из головы. По всякому поводу он мыслию возвращался к Штейнеру. Однажды, едучи со мной в Untergrund'e и нечаянно поступая вполне по-прутковски: русские, окружающим непонятные слова шепча на ухо, а немецкие выкрикивая на весь вагон, он сказал мне:

— Хочется вот поехать в Дорнах, да крикнуть д-ру Штейнеру, как уличные мальчишки кричат: Herr Doktor, Sie sind ein alter Affe!

Он словно старался падать все ниже. Как знать, может быть и надеялся: услышат, окликнут... Но Дорнах не снисходил со своих высот, а Белый жил, как на углях. Свои страдания он «выкрикивал в форточку» — то в виде плохих стихов с редкими проблесками гениальности, то в виде бесчисленных исповедей. Он исповедывался, выворачивая душу, кому попало, порой полужнакомым и вовсе незнакомым людям: соседям по табльдоту, ночным гулякам, смазливый пансионским горничным, иностранным журналистам. Полувлюбился в некую Mariechen, болезненную, запуганную девушку, дочь содержателя маленькой пивной; она смущалась чуть не до слез, когда Herr Professor ломая ей пальцы своими лапищами, отплясывал с нею неистовые танцы, а между танцами, осушая кружку за кружкой, рассказывал ей, то рыча, то шипя, то визжа, все одну и ту же запутанную историю, в которой она ничего не понимала. Замечательно, что и все эти люди, тоже ничего не понимавшие, заслушивались его, чуя, что пьяненький Herr Professor — не простой человек. Возвращаясь домой, раздевался он до гола и опять плясал, выплясывая свое несчастье. Это длилось месяцами. Хотелось иногда пожалеть, что у него такое неиссякаемое физическое здоровье: уж лучше бы заболел, свалился.

Его охраняли, за ним ухаживали: одни из любопытства, другие — с истинною любовью. Из таких людей, опекавших его самоотверженно и любовно, хочу я назвать двоих: С. Г. Каплуна (Сумского), его тогдашнего издателя, и поэтессу Веру Лурье. К несчастью, он был упрямее и сильнее всех своих опекунов, вместе взятых.

Мы виделись почти каждый день, иногда с утра до глубокой ночи. Осенью появилась в Берлине Нина Петровская, сама полубезумная, нищая, старая, исхудалая, хромая. 8 ноября, как раз накануне того дня, когда исполнилось одиннадцать лет со дня ее отъезда из России, они у меня встретились, вместе ушли и вместе провели вечер. Оба жаловались потом. Даже безумства никакого не вышло. С ними случилось самое горькое из

всего, что могло случиться: им было просто скучно друг с другом. То было последнее на земле свидание Ренаты с Огненным Ангелом. Больше они не встречались.

С середины ноября я поселился в двух часах езды от Берлина. Белый приезжал на три, на четыре дня, иногда на целую неделю. Каким-то чудом работал — чудесна была его работоспособность. Случалось ему писать чуть не печатный лист в один день. Он привозил с собою рукописи, днем писал, вечерами читал нам написанное. То были воспоминания о Блоке, далеко перероставшие первоначальную тему и становившиеся воспоминаниями о символистской эпохе вообще. Мы вместе придумывали для них заглавие. Наконец, остановились на том, которое предложила Н. Н. Берберова: «Начало века».

Иногда его прорывало — он пил, после чего начинались сумбурные исповеди. Я ими почти не пользуюсь в данной статье, потому что в такие минуты Белый смешивал правду с воображением. Слушать его в этих случаях было так утомительно, что нередко я уже и не понимал, что он говорит, и лишь делал вид, будто слушаю. Впрочем, и он, по-видимому, не замечал собеседника. В сущности, это были монологи. Надо еще заметить, что, окончив рассказ, он иногда тотчас забывал об этом и принимался все рассказывать сызнова. Однажды ночью он пять раз повторил мне, одну историю. После пятого повторения (каждое — минут по сорок) я ушел в свою комнату и упал в обморок. Пока меня приводили в чувство, Белый ломился в дверь: «Пустите же, я вам хочу рассказать...»

Впрочем, из всей совокупности его тогдашних истерик я понял одно: новая боль, теперешняя, пробудила старую, и старая оказалась более новой. Тогда-то мне и пришло в голову то, что впоследствии, по соображению многих обстоятельств, перешло в уверенность: все, что в сердечной жизни Белого происходило после 1906 года, было только его попыткой залечить ту, петербургскую рану.

К весне он стал все-таки уставать, С горькой улыбкой говорил: «Надо жениться, а то кто меня пьяного в постель уложит?» Из Москвы приезжала антропософка К. Н. Васильева, звала с собою в Россию, к антропософской работе. Белый, прикрыв дверь от нее, шипел: «Хочет меня на себе женить». — Да ведь вы сами хотите жениться? — «Не на ней! — яростно хрипел он, — к черту! Тетка антропософская!»

Он еще не поехал, словно чашу свою хотел испить до конца. К осени 1923 года, кажется, он ее испил — и в самую последнюю минуту, за которой, может быть, началось бы уже сумасшествие, решил ехать. Прежде всего, разумеется, за уходом, чтобы было кому его пьяного «в постель

уложить». Во-вторых — потому, что понял: в эмиграции у него нет и не будет аудитории, а в России она еще есть. Ехал к антропософам, к тогдашней молодежи, которая его так любовно провожала два года тому назад, когда он уезжал за границу. Тогда, после одной лекции, ему кричали из публики: «Помните, что мы здесь вас любим!».

\* \* \*

Нельзя отрицать, что перед отъездом он находился в состоянии неполной вменяемости. Однако, как часто бывает в подобных случаях, сквозь полубезумие пробивалась хитрость. Боясь, что близость с эмигрантами и полуэмигрантами (многие тогда находились на таком положении) может быть поставлена ему в вину, он стал рвать заграничные связи. Прогнал одну девушку, которой был многим обязан. Возводил совершенно бессмысленные поклепы на своего издателя. Вообще — искал ссор и умел их добиться. К несчастью, последняя произошла со мной. Расскажу о ней кратко, минуя некоторые любопытные, но слишком сложные подробности.

В связи с получением визы, ему приходилось неоднократно посещать берлинские советские учреждения, где он до такой степени ругал своих заграничных друзей, что даже коммунистам стало противно его слушать. Один из них, некто Г., сказал об этом М. О. Гершензону, который как раз в это время тоже возвращался в Россию после лечения и тоже выхлопывал себе визу. Гершензон, очень любивший Белого, был до крайности угнетен сообщением Г., которому, кстати сказать, нельзя было не верить, ибо он слово в слово повторял фразы, которые и нам приходилось слышать от Белого. Гершензон уехал значительно раньше Белого, но перед своим отъездом не вытерпел — рассказал мне все. Зная душевное состояние Бориса Николаевича, я решил стерпеть и смолчать, но в конце концов этого испытания не выдержал.

В ту пору русские писатели вообще разъезжались из Берлина. Одни собирались в Париж, другие (в том числе я) — в Италию. Недели за полторы до отъезда Белого решено было устроить общий прощальный ужин. За этим ужином одна дама, хорошо знавшая Белого, неожиданно сказала: «Борис Николаевич, когда приедете в Москву, не ругайте нас слишком». В ответ на это Белый произнес целую речь, в которой заявил буквально, что будет в Москве нашим другом и заступником и готов за нас «пойти на распятие». Думаю, что в ту минуту он сам отчасти этому верил,

но все-таки я не выдержал и ответил ему, что посылать его на распятие мы не в праве и такого «мандата» ему дать не можем. Белый вскипел и заявил, что отныне прекращает со мной все отношения, потому что, оказывается, «всю жизнь» я своим скепсисом отравлял его лучшие мгновения, пресекал благороднейшие поступки. Все это были, конечно, пустые слова. В действительности он вышел из себя потому, что угадал мои настоящие мысли. Понял, что я знаю, что «распинаться» за нас он не будет. Напротив...

По существу он был неправ — даже слишком. Но и я виноват не меньше: я вздумал требовать от него ответственности за слова и поступки, когда он находился уже по ту сторону ответственности. Воистину, мой поступок был вызван очень большою любовью к нему: я не хотел обидеть его снисхождением. Но лучше мне было понять, что нужно только любить его — несмотря на все я поверх всего. Это я понял, когда уже было поздно.

О том, как он жил в советской России, мне известно не много. Он все-таки женился на К. Н. Васильевой, некоторое время вел антропософскую работу. Летом 1923 г., в Крыму, гостя у Максимилиана Волошина, помирился с Брюсовым. В советских изданиях его почти не печатали. Много времени он отдавал писанию автобиографии.

История этой работы своеобразна. Еще перед поездкою за границу он прочел в Петербурге лекцию — свои воспоминания о Блоке. Затем он эти воспоминания переделывал дважды, каждый раз значительно расширяя. Вторая из этих переделок, напечатанная в берлинском журнале «Эпопея», навела его на мысль превратить воспоминания о Блоке в воспоминания обо всей эпохе символизма. В Берлине он успел написать только первый том, рукопись которого осталась за границей и не была издана. В России Белый принялся за четвертую редакцию своего труда. Он начал с более ранней эпохи, с рассказа о детских и юношеских годах. Этот том вышел под заглавием «На рубеже двух столетий». За ним, под заглавием «Начало века», последовал первый том мемуаров литературных. Тут произошел в Белом психологический сдвиг, для него характерный. Еще в Берлине он жаловался на то, что работа, выраставшая из воспоминаний о Блоке, выходит слишком апологетической: Блок в ней прикрашен, «вычищен, как самовар». В Москве Белый решил исправить этот недостаток. Но в самое это время были опубликованы неприятные для него письма Блока — и он сорвался: апологию Блока стал превращать в издевательство над его памятью.

Он успел, однако же, написать еще один том, «Между двух революций», появившийся только в конце 1937 г., то есть почти через три



года после его смерти. В этой книге, окончательно очернив Блока, он еще безжалостнее расправился чуть не со всеми прочими спутниками своей жизни. Возможно, что он отчасти исходил из того положения, что если Блок оказался представлен в таком дурном виде, то остальные подавно стоят того же. Но, зная хорошо Белого, я уверен, что тут действовала еще одна своеобразная причина.

Прикосновенность к религии, к мистике, к антроософии — все это, разумеется, ставилось ему в вину теми людьми, среди которых он теперь жил и от которых во всех смыслах зависел. В автобиографии все это надо было отчасти затушевать, отчасти представить в ином смысле. Уже в предыдущем томе Белый явно нащупывал такие идейные извороты, которые дали бы ему возможность представить весь свой духовный путь, как поиски революционного мирозерцания. Теперь, говоря об эпохе, лежавшей «между двух революций», он не только перед большевиками, — но и перед самим собой (это и есть самое для него характерное) стал разыгрывать давнего, упорного, сознательного не только бунтовщика, но даже марксиста или почти марксиста, рьяного борца с «гидрой капитализма». Между тем, объективные и общеизвестные факты его личной и писательской биографии такой концепции не соответствовали. Любой большевик мог поставить ему на вид, что деятельным революционером он не был и что в этом-то и заключается его смертный грех перед пролетариатом. И вот, совершенно так, как в автобиографических романах он свою сокровенную вину перед отцом перекладывал на таинственных демонических подстрекателей, так и теперь всю свою жизнь он принялся изображать, как непрерывную борьбу с окружающими, которые будто бы совращали его с революционного пути. Чем ближе был ему человек, тем необходимее было представить его тайным врагом, изменником, провокатором, наймитом и агентом капитализма. Он пощадил лишь нескольких, ныне живущих в советской России. Будь они за границей — и им бы не сдобровать. И совершенно так же, как он демонизировал и окарικатурировал всех, кто окружал героя в его романах, теперь он окарикатурил и представил в совершенно дьявольском виде бывших своих друзей. Его замечательный дар сказался и тут: все вышли похожи на себя, но еще более — на персонажей «Петербурга» или «Москвы под ударом». Не сомневаюсь, что он работал с увлечением истинного художника — и сам какой-то одной стороной души верил в то, что выходит из-под пера. Однако, если бы большевики обладали большою художественной чуткостью, они могли бы ему сказать, что как его квазиисторические романы в действительности суть фантастические, ибо в

них нереальные персонажи действуют в нереальной обстановке, так же фантастична и его автобиография. Больше того: они могли бы ему сказать, что он окончательно разоблачил самого себя, как неисправимого мистика, ибо он не только сочинил, исказил, вывернул наизнанку факты вместе с персонажами, но и вообще всю свою жизнь представил не как реальную борьбу с наймитами капитализма, а как потустороннюю борьбу с демонами. Автобиография Белого есть такая же «серия небывших событий», как его автобиографические романы. [\[11\]](#)

Я совсем не хочу сказать, что он внутренне был чужд революции. Но, подобно Блоку и Есенину, он ее понимал не так, как большевики, и принимал ее — не в большевизме. Это, впрочем, особая, сложная и не мемуарная тема.

Умер он, как известно, 8 января 1934 г., от последствий солнечного удара. Потому-то он и просил перед смертью, чтобы ему прочли его давнишние стихи:

Золотому блеску верил,  
А умер от солнечных стрел.  
Думой века измерил,  
А жизнь прожить не сумел.

Слушая в последний раз эти пророческие стихи, он, вероятно, так и не вспомнил, что некогда они были посвящены Нине Петровской.

***Париж. 1934–1938.***

# Муни

## 1.

### *Я все таки был.*

Самуил Викторович Киссин, о котором я хочу рассказать, в сущности, ничего не сделал в литературе. Но рассказать о нем надо и стоит, потому что, будучи очень «сам по себе», он всем своим обликом выражал нечто глубоко характерное для того времени, в котором протекала его недолгая жизнь. Его знала вся литературная Москва конца девятисотых и начала девятисот десятих годов. Не играя заметной роли в ее жизни, он скорее был одним из тех, которые составляли «фон» тогдашних событий. Однако ж, по личным свойствам он не был «человеком толпы», отнюдь нет. Он слишком своеобразен и сложен, чтобы ему быть «типом». Он был **симптом**, а не **тип**.

Мы познакомились в конце 1905 г. Самуил Викторович жил тогда в Москве, «бедным студентом», на те двадцать пять рублей в месяц, которые присылали ему родные из Рыбинска. Писал стихи и печатал их в крошечном журнальчике «Зори», под псевдонимом Муни. Так и звала его вся Москва до конца его жизни (хотя под конец он стал подписываться: С. Киссин). Так буду и я называть его здесь.

Мы сперва крепко не понравились друг другу, но с осени 1906 года как-то внезапно «открыли» друг друга и вскоре сдружились. После этого девять лет, до кончины Муни, мы прожили в таком верном братстве, в такой тесной любви, которая теперь кажется мне чудесною.

Внешняя история Муниной жизни очень несложна. Он родился в октябре 1885 года, в Рыбинске, в еврейской семье небольшого достатка. Окончив Рыбинскую гимназию, поступил на юридический факультет Московского университета. Летом 1909 года женился на Лидии Яковлевне Брюсовой, сестре поэта. В первые же дни войны был мобилизован, произведен в зауряд-военные чиновники и скончался в Минске, 28 марта 1916 года. След, им оставленный в жизни, как и в литературе, не глубок. Но — незадолго до смерти, с той иронией, которая редко покидала его, он сказал мне:

— Заметь, что я все таки был.

## 2.

### *Предвестия упраздняются.*

Мы переживали те годы, которые шли за 1905-м: годы душевной усталости и повального эстетизма. В литературе по пятам модернистской школы, внезапно получившей всеобщее признание как раз за то, что в ней было несущественно или плохо, потянулись бесчисленные низкопробные подражатели. В обществе тщедушные барышни босиком воскрешали эллинизм. Буржуа, вдруг ощутивший волю к «дерзаниям», накинулся на «вопросы пола». Где-то пониже плодились санинцы и огарки. На улицах строились декадентские дома. И незаметно надо всем этим скопилось электричество. Гроза ударила в 1914 году.

Мы с Муни жили в трудном и сложном мире, который мне сейчас уже нелегко описать таким, каким он воспринимался тогда. В горячем, предгрозовом воздухе тех лет было трудно дышать, нам все представлялось двусмысленным и двузначащим, очертания предметов казались шаткими. Действительность, распыляясь в сознании, становилась сквозной. Мы жили в реальном мире — и в то же время, в каком-то особом, туманном и сложном его отражении, где все было «то, да не то». Каждая вещь, каждый шаг, каждый жест как бы отражался условно, проектировался в иной плоскости, на близком, но неосязаемом экране. Явления становились видениями. Каждое событие, сверх своего явного смысла, еще обретало второй, который надобно было расшифровать. Он нелегко нам давался, но мы знали, что именно он и есть настоящий.

Таким образом, жили мы в двух мирах. Но, не умея раскрыть законы, по которым совершаются события во втором, представлявшемся нам более реальным, нежели просто реальный, — мы только томились в темных и смутных предчувствиях. Все совершающееся мы ощущали, как предвестия. Чего?

Как и многим тогда, нам казалось, что вскоре должны «наступить события». Но, в отличие от многих других, наши предчувствия были, окрашены очень мрачно. Мы сами не представляли себе вразумительно, что именно произойдет. Мы старались об этом не говорить с посторонними. Но то, что проскальзывало, было неприятно. Нас не любили

за «скептицизм» и «карканье». В одном стихотворном письме 1909 года Муні писал мне ясно:

Стихами Россию не спасти,  
Россия их спасет едва ли.

Мы были только неопытные мальчишки, лет двадцати, двадцати с небольшим, нечаянно зачерпнувшие ту самую каплю запредельной стихии, о которой писал поэт. Но и другие, более опытные и ответственные люди блуждали в таких же потемках. Маленькие ученики плохих магов (а иногда и попросту шарлатанов), мы умели вызывать мелких и непослушных духов, которыми не умели управлять. И это нас расшатывало. В «лесу символов» мы терялись, на «качелях соответствий» нас укачивало. «Символический быт», который мы создали, т. е. символизм, ставший для нас не только методом, но и просто (хоть это вовсе не просто!) образом жизни, — играл с нами неприятные шутки. Вот некоторые из них, ради образчика.

Мы с Муні сидели в ресторане «Прага», зал которого разделялся широкой аркой. По бокам арки висели занавеси. У одной из них, спиной к нам, держась правой рукой за притолоку, а левую заложив за пояс, стоял половой в своей белой рубашке и в белых штанах. Немного спустя из-за арки появился другой, такого же роста, и стал лицом к нам и к первому половому, случайно в точности повторив его позу, но в обратном порядке: левой рукой держась за притолоку, а правую заложив за пояс и т. д. Казалось, это стоит один человек — перед зеркалом. Муні сказал, усмехнувшись:

— А вот и отражение пришло.

Мы стали следить. Стоящий спиной к нам опустил правую руку. В тот же миг другой опустил свою левую. Первый сделал еще какое-то движение — второй опять с точностью отразил его. Потом еще и еще. Это становилось жутко. Муні смотрел, молчал и постукивал ногой. Внезапно второй стремительно повернулся и исчез за выступами арки. Должно быть, его позвали. Муні вскочил, побледнев, как мел. Потом успокоился и сказал:

— Если бы ушел наш, а отражение осталось, я бы не вынес. Пощупай, что с сердцем делается.

В другой раз мы шли по Тверской. Муні говорил, что у него бывают минуты совершенно точного предвидения. Но оно касается только мелких событий.

— Да, что там! Видишь, вон та коляска. У нее сейчас сломается задняя ось.

Нас обгоняла старенькая коляска на паре плохих лошадей. В ней сидел седой старичок с такою же дамой.

— Ну, что же? — сказал я. — Что-то не ломается.

Коляска проехала еще сажен десять, ее уже заслоняли другие экипажи. Вдруг она разом остановилась против магазина Елисеева посреди мостовой. Мы подбежали. Задняя ось была переломлена посредине. Старики вылезли. Они отделались испугом. Муни хотел подойти попросить прощения. Я насилу отговорил его.

В тот же день, поздно вечером, мы шли по Неглинному проезду. С нами был В. Ф. Ахрамович, тот самый, который потом сделался рьяным коммунистом. Тогда он был рьяным католиком. Я рассказал ему этот случай. Ахрамович шутя спросил Муни:

— А заказать вам нельзя что-нибудь в этом роде?

— Попробуйте.

— Ну, так нельзя ли нам встретить Антика? (В. М. Антик был издателем желтых книжек «Универсальной Библиотеки». Все трое мы в ней работали).

— Что ж, пожалуйста, — сказал Муни. Мы приближались к углу Петровских линий. Оттуда, пересекая нам дорогу, выезжал извозчик. Поравнявшись с нами, седок снял шляпу и поклонился. Это был Антик.

Муни сказал Ахрамовичу с укором:

— Эх, вы! Не могли пожелать Мессию.

Эта жизнь была утомительна. Муни говорил, что все это переходит уже просто в гадость, в неврастению, в душевный насморк. И время от времени он объявлял:

— Предвестия упраздняются.

Он надевал синие очки, «чтобы не видеть лишнего», и носил в кармане столовую ложку и большую бутылку брома с развивающимся рецептом...

### 3.

#### *Из неоконченного (d'inacheve).*

Муни не был ленив. Но он не умел работать. Человек замечательных способностей, интуиции порой необычайной, он обладал к тому же

огромным количеством познаний. Но сосредоточиться, ограничить себя не мог. Всякая работа вскоре отпугивала его: открывались неодолимые сложности и трудности. О чем бы дело ни шло, — перед Муни возникал образ какого-то недостижимого совершенства, — и у него опускались руки. Оказывалось, чего ни коснись — за все надобно было браться чуть не с пеленок, а теперь время уже упущено.

Писал он стихи, рассказы, драматические вещи. В сущности, ничто ни разу не было доведено до конца: либо он просто бросал, либо не дорабатывал в смысле качества. Все, что он писал, было хуже, чем он мог написать. Разумеется, он всегда был полон проектов, замыслов, планов. Шутя над собой, говорил что у него, как у Козьмы Пруткова, главнейшие произведения хранятся в кожаном портфеле с надписью: «Из неоконченного (d'inacheve)».

В литературных оценках он был суров безгранично и почти открыто презирал все, что не было вполне гениально. При таких взглядах он имел несчастье быть до конца правдивым, — во всем, что касалось литературы. Будучи в душе мягок и добр, он старался скрывать свои мнения вовсе, но уж ежели приходилось, — он их высказывал без прикрас. В литературном мире он был неприятен и неудобен. На авторских чтениях в кругу друзей, когда хочется выслушивать одни комплименты, хотя бы предательские, он иногда умудрялся испортить весь вечер, начавшийся так приятно. Его старались не приглашать, потому что боялись и не любили: все, от маленьких литературных мальчиков до мужей прославленных и увенчанных. Кажется, кроме меня, только Б. К. Зайцев да покойный С. С. Голоушев (Сергей Глаголь) умели к нему подойти с любовью. А он в ней очень нуждался.

Чем лучше он относился к человеку, тем к нему был безжалостней. Ко мне — в первую очередь. Я шел к нему с каждыми новыми стихами. Прослушав, он говорил:

— Дай-ка, я погляжу глазами. Голосом — смазываешь, прикрашиваешь.

В лучшем случае, прочитав, он говорил, что «это не так уж плохо». Но гораздо чаще делал утомленное и скучающее лицо и стонал:

— Боже, какая дрянь!

Или:

— Что я тебе сделал дурного? За что ты мне это такое читаешь?

И начинал разбор, подробный, долгий, уничтожающий. Если я слишком упорствовал, отстаивая свое творение, Муни, наконец, говорил:

— Хорошо, будь по-твоему. Напечатай и подпиши: Николай Поярков.

(Поярков был глубоко бездарный поэт, впрочем, несчастный и жалкий. Теперь его уже нет на свете.)

Должен признаться, что я относился к его писаниям приблизительно так же. И так же каждый из нас относился к себе самому. Из года в год мы заедали самих себя и друг друга изо всех сил. Истинно, никто бы не мог сказать, что мы кадили друг другу. «Едкие осуждения» мы по совести предпочитали «упойтельным похвалам». Только с началом войны, когда Муни уехал, я стал понемногу освобождаться из-под его тирании. Я знал, что как ни полезна мне Мунина строгость, все же, в конце концов, она меня и задушит. Иногда наезжая с войны, Муни замечал это и откровенно сердился, словно ревнуя к чему-то или к кому-то. Под конец его последнего пребывания в Москве, как раз накануне его отъезда, я должен был читать стихи на каком то вечере в Политехническом музее. Муни сказал, что придет меня слушать, но за час до начала позвонил по телефону:

— Нет, прости, не приду.

— Почему?

— Так, не сочувствую. Не нужно все это. Будь здоров.

И повесил трубку. Это был наш последний разговор. На другой день, не зайдя ко мне, он уехал, а еще через два дня его не стало.

#### 4.

#### *Тень от дыма.*

В иные годы мы были почти неразлучны. Все свободное время (его было достаточно) проводили вместе, редко у Муни, чаще у меня, а всего чаще просто на улицах или в ресторанах. Нескончаемые беседы на нескончаемые темы привели к особому языку, состоявшему из цитат, намеков, постепенно сложившихся терминов. Друг друга мы понимали с полупапека, другие не понимали нас вовсе — и обижались. Но мы порой как бы утрачивали способность говорить на общепринятом языке. Надо признать, что, вероятно, в обществе мы были отчасти невыносимы.

Обычно вечер наш начинался в кафе на Тверском бульваре, а кончался поблизости, на углу Малой Бронной, в Международном ресторане. В большой, безобразной зале, среди мелкошерстной публики, под звуки надрывисто-залихватского оркестра, в сени пыльных лавров, сперва за графином водки, потом за четвертинкой Мартеля, мы просиживали до



закрытия. Тогда выходили на улицу и в любую погоду (что были нам дождь и снег?) скитались по городу, забредая в Петровский парк и в Замоскворечье, не в силах расстаться, точно влюбленные, по нескольку раз провожая друг друга до дому, часами простаивая под каким-нибудь фонарем, — и вновь начиная ту же прогулку. Был договор такой:

Куда бы ты ни поспешал,  
Хоть на любовное свиданье,  
Какое — б в сердце ни питал  
Ты сокровенное мечтанье, —

конец вечера или хоть конец ночи должен быть проведен вместе. Назначались свидания в три, в четыре, в пять часов ночи. В ясную погоду, весной и летом, происходили свидания «у звезды»: мы встречались на Тверском бульваре, когда светало и только из-за Страстного монастыря восходила утренняя звезда.

Все, что лежало за пределами этой **нашей** жизни, с ее символическим обиходом, воспринималось Муні, как докучная смена однообразных и грубых снов. Поскольку действительность была сном, она становилась бременем. Жизнь была для него «легким бременем»: так он хотел назвать книгу стихов, которой никогда не суждено было появиться. В 1917 году она была подготовлена к печати его семьей и немногими близкими, в годы революции дважды побывала в типографии, однажды была вполне набрана, — и все таки ее нет.

Все, за что брался Муні, в конце концов, не удавалось и причиняло боль, — потому, вероятно что и брался-то он с тайным страхом и отвращением. Все «просто реальное» было ему нестерпимо. Каждое жизненное событие тяготило его и непременно каким то «другим концом» ударило по нему. В конце концов, все явления жизни превращались для него в то, что он звал «неприятностями». Он жил в непрерывной цепи этих неприятностей. Чтобы их избежать, надо было как можно меньше соприкасаться с действительностью. Бывало, о чем ни расскажешь ему, что ни предложишь, — он отвечал, морщась: «Ну, к чему это?» Он говорил, что ему противно и страшно «лить воду на мельницу действительности». Но всем, живущим без этого страха и отвращения, он завидовал. Однажды, осенней ночью, мы проходили мимо запертой Иверской часовни. На ступеньках сидели, стояли, лежали хромые, больные, нищие, расслабленные, кликуши. Муні сказал:

— Знают, чего хотят. А ко мне, не к стихам, а ко мне самому, каков я есть, надо бы поставить эпиграф:

Другие дым, я тень от дыма,  
Я всем завидую, кто дым.

Самая смерть его в шуме войны прошла незамеченной. Еще и теперь иногда меня спрашивают: «А где сейчас Муни? Вы о нем ничего не знаете?»

## 5.

### *Семипудовая купчиха.*

Муни состоял из широкого костяка, обтянутого кожей. Но он мешковато одевался, тяжело ступал, впалые щеки прикрывал большой бородой. У него были непомерно длинные руки, и он ими загребал, как горилла или борец.

— Видишь ли, — говорил он, — меня в сущности нет, как ты знаешь. Но нельзя, чтобы это знали другие, а то сам понимаешь, какие пойдут неприятности.

И кончал по обыкновению цитатой:

— Моя мечта, это воплотиться, но чтобы уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху.

В одном из его рассказов главный герой, Большаков, человек незадачной жизни, мучимый разными страстями и неприятностями, решает «довоплотиться» в спокойного и благополучного Перееславцева. Сперва это ему удастся, но потом он начинает бунтовать, и, наконец, Перееславцев убивает его.

После одной тяжелой любовной истории, в начале 1908 года, Муни сам вздумал довоплотиться в особого человека, Александра Александровича Беклемишева (рассказ о Большакове был написан позже, именно на основании опыта с Беклемишевым). Месяца три Муни не был похож на себя, иначе ходил, говорил, одевался, изменил голос и самые мысли. Существование Беклемишева скрывалось, но про себя Муни знал, что, наоборот — больше нет Муни, а есть Беклемишев, принужденный

лишь носить имя Муни «по причинам полицейского, паспортного порядка».

Александр Беклемишев был человек, отказавшийся от всего, что было связано с памятью о Муни, и в этом отказе обретающий возможность жить дальше. Чтобы уплотнить реальность своего существования, Беклемишев писал стихи и рассказы; под строгой тайной посылал их в журналы. Но редакторы, только что печатавшие Муни, неведомому Беклемишеву возвращали рукописи, не читая. Только Ю. И. Айхенвальд, редактировавший тогда литературный отдел «Русской Мысли», взял несколько стихотворений незнакомого автора.

Двойное существование, конечно, не облегчало жизнь Муни, а усложняло ее в геометрической прогрессии. Создалось множество каких-то совсем уж невероятных положений. Наши «смыслы» становились уже не двойными, а четверными, восьмерными и т. д. Мы не могли никого видеть и ничего делать. Отсюда возникали бездействие и безденежье. Случалось, что за день, за два, а однажды и за три дня мы вдвоем выпивали бутылку молока и съели один калач. В довершение всего, Муни бунтовал против Беклемишева («лез из кожи», как мы назвали), и дело могло кончиться так, как впоследствии кончилось у Большакова с Переяславцевым. И вот однажды я оборвал все это — довольно грубо. Уехав на дачу, я написал и напечатал в одной газете стихи за подписью — Елисавета Макшеева. (Такая девица в восемнадцатом столетии существовала, жила в Тамбове; она замечательна только тем, что однажды участвовала в представлении какой то Державинской пьесы). Стихи посвящались Александру Беклемишеву и содержали довольно прозрачное и насмешливое разоблачение Беклемишевской тайны. Впоследствии они вошли в мою книгу «Счастливый Домик» под заглавием «Поэту». Прочтя их в газете, Муни не тотчас угадал автора. Я его застал в Москве, на бульварной скамейке, подавленным и растерянным. Между нами произошло объяснение. Как бы то ни было, разоблаченному и ставшему шуткою Беклемишеву оставалось одно исчезнуть. Тем дело тогда и кончилось. Муни вернулся «в себя», хоть не сразу. К несчастью, «беклемишевская история» и попытки «воплотиться в семипудовую купчиху» повлекли за собой другие, более житейские события, о которых сейчас рассказывать не время. Однако, мы жили в такой внутренней близости, и в ошибках Муни было столько участия моего, что я не могу не винить и себя в этой смерти.

## *Обуреваемый негр.*

Муни написал две маленькие «трагедии» довольно дикого содержания. Одна называлась «Обуреваемый негр». Ее герой, негр в крахмальной рубашке и в подтяжках, только показывается в разных местах Петербурга: на Зимней Канавке, в модной мастерской, в окне ресторана, где компания адвокатов и дам отплясывает кэк-уок. Появляясь, негр бьет в барабан и каждый раз произносит приблизительно одно и то же: «Так больше продолжаться не может. Трам-там-там. Я обуреваем». И еще: «Это-го ниче-го не бу-дет».

В последнем действии на сцене, изображен поперечный разрез трамвая, который, жужжа и качаясь, как бы уходит от публики. В глубине, за стеклом виден вагоновожатый. Поздний вечер. Пассажиры дремлют, покачиваясь. Вдруг раздается треск, вагон останавливается. За сценою замешательство. Затем выходит театральный механик и заявляет:

— Случилось несчастье. По ходу действия негр попадает под трамвай. Но в нашем театре все декораций устроены так добросовестно и реально, что герой раздавлен на самом деле. Представление отменяется. Недовольные могут получить деньги обратно.

В этой «трагедии» Муни предсказал собственную судьбу. Когда «события», которых он ждал, стали осуществляться, он сам погиб под их «слишком реальными» декорациями. Последнею и тягчайшей «неприятностью» реального мира оказалась война. Муни был мобилизован в самый день ее объявления. Накануне его явки в казарму я был у него. Когда я уходил, он вышел со мной из подъезда и сказал:

— Кончено. Я с войны не вернусь. Или убьют, или сам не вынесу.

Оказалось, что, как еврей, он не был произведен в прапорщики, но неожиданно назначен чиновником санитарного ведомства. Его отправили в сторону, противоположную фронту: в Хабаровск. Оттуда перебросили в Варшаву, а когда она была занята немцами — в Минск. Но лазаретная жизнь для него оказалась не легче, чем была бы окопная. Приезжая иногда в отпуск, он старался не особенно жаловаться. Но его письма «оттуда» были полны отчаяния. «Реальность» нашла на него самую страшную форму. Все попытки, высвободить его, добиться хотя бы перевода в Москву, оказались тщетны. Начальство отвечало: «Ведь он в тылу. Чего же еще?» — и по-своему было право.

Под конец и приезды его стали тяжелы. В последний раз, уезжая из Москвы 25-го марта 1916 года, он еще с дороги прислал открытку с

просьбой известить об исходе одного дела, касавшегося меня. Но не только он не дождался ответа, а и открытка пришла, когда его уже не было в живых. По приезде в Минск, на рассвете 28 марта, Муни покончил с собой. Сохранился набросок песенки, сочиненной им, вероятно, в вагоне. Она называется «Самострельная».

Однажды, осенью 1911 года, в дурную полосу жизни, я зашел к своему брату. Дома никого не было. Доставая коробочку с перьями, я выдвинул ящик письменного стола и первое, что мне попало на глаза, был револьвер. Искушение было велико. Я, не отходя от стола, позвонил к Муни по телефону:

— Приезжай сейчас же. Буду ждать двадцать минут, больше не смогу.

Муни приехал.

В одном из писем с войны он писал мне: «Я слишком часто чувствую себя так, как — помнишь? — ты в пустой квартире у Михаила».

Тот случай, конечно, он вспомнил и умирая: «наше» не забывалось. Муни находился у сослуживца. Сослуживца вызвали по какому-то делу. Оставшись один, Муни взял из чужого письменного стола револьвер и выстрелил себе в правый висок. Через сорок минут он умер.

*Robinson, сентябрь 1926.*

## Гумилев и Блок

Блок умер 7-го, Гумилев — 27-го августа 1921 года. Но для меня они оба умерли 3 августа. Почему — я расскажу ниже.

Пожалуй, трудно себе представить двух людей, более различных между собою, чем были они. Кажется, только возрастом были они не столь далеки друг от друга: Блок был всего лет на шесть старше.

Принадлежа к одной литературной эпохе, они были людьми разных поэтических поколений. Блок, порой бунтовавший против символизма, был одним из чистейших символистов. Гумилев, до конца жизни не вышедший из-под влияния Брюсова, воображал себя глубоким, последовательным врагом символизма. Блок был мистик, поклонник Прекрасной Дамы, — и писал кощунственные стихи не только о ней. Гумилев не забывал креститься на все церкви, но я редко видал людей, до такой степени не подозревающих о том, что такое религия. Для Блока его поэзия была первейшим, реальным духовным подвигом, неотделимым от жизни. Для Гумилева она была формой литературной деятельности. Блок был поэтом всегда, в каждую минуту своей жизни. Гумилев — лишь тогда, когда он писал стихи. Все это (и многое другое) завершалось тем, что они терпеть не могли друг друга — и этого не скрывали. Однако, в памяти моей они часто являются вместе. Последний год их жизни, в сущности, единственный год моего с ними знакомства, кончился почти одновременной смертью обоих. И в самой кончине их, и в том потрясении, которое она вызвала в Петербурге, было что-то связующее.

Мы с Гумилевым в один год родились, в один год начали печататься, но не встречались долго: я мало бывал в Петербурге, а он в Москве, кажется, и совсем не бывал. Мы познакомились осенью 1918 г., в Петербурге, на заседании коллегии «Всемирной Литературы». Важность, с которою Гумилев «заседал», тотчас мне напомнила Брюсова.

Он меня пригласил к себе и встретил так, словно это было свидание двух монархов. В его торжественной учтивости было нечто столь неестественное, что сперва я подумал — не шутит ли он? Пришлось, однако, и мне взять примерно такой же тон: всякий другой был бы фамильярностью. В опустелом, голодном, пропахшем воблою Петербурге, оба голодные, исхудалые, в истрепанных пиджаках и дырявых штиблетах, среди нетопленного и неубранного кабинета, сидели мы и беседовали с непомерною важностью. Памятуя, что я москвич, Гумилев счел нужным

предложить мне чаю, но сделал это таким неуверенным голосом (сахару, вероятно, не было), что я отказался и тем, кажется, вывел его из затруднения. Меж тем обстановка его кабинета все более привлекала мое внимание. Письменный стол, трехстворчатый книжный шкаф, высокие зеркала в простенках, кресла и прочее — все мне было знакомо до чрезвычайности. Наконец, я спросил осторожно, давно ли он живет в этой квартире.

— В сущности, Это не моя квартира, — отвечал Гумилев, — это квартира М. — Тут я все понял: мы с Гумилевым сидели в бывшем моем кабинете! Лет за десять до того эта мебель отчасти принадлежала мне. Она имела свою историю. Адмирал Федор Федорович Матюшкин, лицейский товарищ Пушкина, снял ее с какого-то корабля и ею обставил дом у себя в имении, возле Бологое, на берегу озера. Имение называлось «Заимка». По местным преданиям Пушкин, конечно, не раз бывал в «Заимке»; показывали даже кресло, обитое зеленым сафьяном, любимое кресло Пушкина. Как водится, это была лишь легенда: Пушкин в тех местах не бывал вовсе, да и Матюшкин купил это имение только лет через тридцать после смерти Пушкина. После кончины Матюшкина «Заимка» переходила из рук в руки, стала называться «Лидиным», но обстановка старого дома сохранилась. Даже особые приспособления в буфете для подвешивания посуды на случай качки не были заменены обыкновенными полками. В 1905 г. я сделался случайным полуобладателем этой мебели и вывез ее в Москву. Затем ей суждено было перекочевать в Петербург, а когда революция окончательно сдвинула с мест всех и все, я застал среди нее Гумилева. Ее настоящая собственница была в Крыму.

Посидев, сколько следовало для столь натянутого визита, я встал. Когда Гумилев меня провожал в передней, из боковой двери выскочил тощенький, бледный мальчик, такой же длиннолицый, как Гумилев, в запачканной косоворотке и в валенках. На голове у него была уланская каска, он размахивал игрушечной сабелькой и что-то кричал. Гумилев тотчас отослал его — тоном короля, отсылающего дофина к его гувернерам. Чувствовалось, однако, что в сырой и промозглой квартире нет никого, кроме Гумилева и его сына.

Два года спустя переехал я в Петербург. Мы стали видеться чаще. В Гумилеве было много хорошего. Он обладал отличным литературным вкусом, несколько поверхностным, но в известном смысле непогрешимым. К стихам подходил формально, но в этой области был и зорек, и тонок. В механику стиха он проникал, как мало кто. Думаю, что он это делал глубже и зорче, нежели даже Брюсов. Поэзию он обожал, в суждениях старался

быть беспристрастным.

За всем тем его разговор, как и его стихи, редко был для меня «питателен». Он был удивительно молод душой, а может быть и умом. Он всегда мне казался ребенком. Было что-то ребяческое в его под машинку стриженной голове, в его выправке, скорее гимназической, чем военной. То же ребячество прорывалось в его увлечении Африкой, войной, наконец — в напускной важности, которая так меня удивила при первой встрече и которая вдруг сползала, куда-то улетучивалась, пока он не спохватывался и не натягивал ее на себя сызнова. Изображать взрослого ему нравилось, как всем детям. Он любил играть в «мэтра», в литературное начальство своих «гумилят», то есть маленьких поэтов и поэтесс, его окружавших. Поэтическая детвора его очень любила. Иногда, после лекций о поэтике, он играл с нею в жмурки — в самом буквальном, а не в переносном смысле слова. Я раза два это видел. Гумилев был тогда похож на славного пятиклассника, который разыгрался с приготовишками. Было забавно видеть, как через полчаса после этого он, играя в большого, степенно беседовал с А. Ф. Кони — и Кони весьма уступал ему в важности обращения.

На святках 1920 года в Институте Истории Искусств устроили бал. Помню: в огромных промерзших залах зубовского особняка на Исаакиевской площади скудное освещение и морозный пар. В каминах чадят и тлеют сырые дрова. Весь литературный и художнический Петербург — налицо. Гремит музыка. Люди движутся в полумраке, теснятся к каминам. Боже мой, как одета эта толпа! Валенки, свитеры, потертые шубы, с которыми невозможно расстаться и в танцевальном зале. И вот, с подобающим опозданием, является Гумилев под руку с дамой, дрожащей от холода в черном платье с глубоким вырезом. Прямой и надменный, во фраке, Гумилев проходит по залам. Он дрогнет от холода, но величественно и любезно раскланивается направо и налево. Беседует со знакомыми в светском тоне. Он играет в бал. Весь вид его говорит: «Ничего не произошло. Революция? Не слыхал».

\* \* \*

В ту зиму Блок избегал людей. Конечно, он не был и на балу. Он запомнился мне на другом вечере. «Дом Литераторов», одно из последних прибежищ наших, задумал устраивать ежегодные всероссийские чествования памяти Пушкина в день его смерти. (Впоследствии они были



перенесены на день рождения Пушкина; из них же возникли и зарубежные «Дни русской культуры»). Первый вечер состоялся 11 февраля 1921 года. Предстояли речи А. Ф. Кони, Н. А. Котляревского, Блока и моя. Кузмин должен был читать стихи. Я был болен, не успел подготовить речь к сроку и отказался выступить, но пошел на вечер. На эстраде сидели представители «Дома Литераторов» — Н. М. Волковыский, Б. И. Харитон, В. Я. Ирецкий. За столом президиума, в центре Котляревский (председатель), по правую руку от него — Ахматова, Щеголев и я, по левую — Кони, Кузмин и на конце стола Блок, который все время сидел, низко опустив голову.

Речам предшествовали краткие заявления разных организаций о том, в какой форме предполагают они в будущем отмечать пушкинские дни. В числе делегатов явился и официальный представитель правительства, некий Кристи, по должности — заведующий так называемым академическим центром. Писателям и ученым постоянно приходилось иметь с ним дело. Он был человек пожилой, мягкий, благожелательный. Под не сочувственными взглядами битком набитого зала он приметно конфузился. Когда ему предоставили слово, он встал, покраснел и, будучи неречист от природы, тотчас же сбился: не рассчитал отрицательных частиц и произнес буквально следующее:

— Русское общество **не** должно предполагать, будто во всем, что касается увековечения памяти Пушкина, оно **не** встретит препятствий со стороны рабоче-крестьянской власти.

По залу пробежал смех. Кто-то громко сказал: «И не предполагаем». Блок поднял лицо и взглянул на Кристи с кривой усмешкой.

Свое вдохновенное слово о Пушкине он читал последним. На нем был черный пиджак поверх белого свитера с высоким воротником. Весь жилистый и сухой, обветренным красноватым лицом он похож был на рыбака. Говорил глуховатым голосом, отрубая слова, засунув руки в карманы. Иногда поворачивал голову в сторону Кристи и отчеканивал: «Чиновники суть наша чернь, чернь вчерашнего и сегодняшнего дня... Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение...» Бедный Кристи приметно страдал, ерзая на своем стуле. Мне передавали, что перед уходом, надевая пальто в передней, он сказал громко:

— Не ожидал я от Блока такой бестактности.

Однако, в той обстановке и в устах Блока речь прозвучала не

бестактностью, а глубоким трагизмом, отчасти, может быть, покаянием. Автор «Двенадцати» завещал русскому обществу и русской литературе хранить последнее пушкинское наследие — свободу, хотя бы «тайную». И пока он говорил, чувствовалось, как постепенно рушится стена между ним и залом. В овациях, которыми его провожали, была та просветленная радость, которая всегда сопутствует примирению с любимым человеком.

Во время блоковской речи появился Гумилев. Под руку с тою же дамою, что была с ним на балу, он торжественно шел через весь зал по проходу. Однако, на этот раз в его опоздании на пушкинский вечер, и в его фраке, (быть может, рядом со свитером Блока), и в вырезном платье его спутницы было что-то неприятное. На эстраде было для него приготовлено место. Он уже занес ногу на скрипучую ступеньку, но Котляревский резко махнул на него рукой, он сел где-то в публике и через несколько минут вышел.

Вечер был повторен три раза. Я, наконец, написал свою речь («Колеблемый треножник») и читал ее. «За кулисами», в ожидании своей очереди, мы с Блоком беседовали. В сущности, только в те вечера мы с ними говорили более или менее наедине. В последний раз (это было в здании Университета), так вышло, что в какой-то пустынной комнате, за холодным клеенчатым столом, просидели мы часа полтора. Начали с Пушкина, перешли к раннему символизму. О той эпохе, о тогдашних мистических увлечениях, об Андрее Белом и С. М. Соловьеве Блок говорил с любовной усмешкой. Так вспоминают детство. Блок признавался, что многих тогдашних стихов своих он больше не понимает: «Забыл, что тогда значили многие слова. А ведь казались сакраментальными. А теперь читаю эти стихи, как чужие, и не всегда понимаю, что, собственно, хотел сказать автор».

В тот вечер, 26 февраля, он был печальнее, чем когда-либо. Говорил много о себе, как-будто с самим собою, смотря вглубь себя, очень сдержанно, порою — полупамятками, смутно, спутано, но за его словами ощущалась суровая, терпковая правдивость. Казалось, он видит мир и себя самого в трагической обнаженности и простоте. Правдивость и простота навсегда и остались во мне связаны с воспоминанием о Блоке.

\* \* \*

Гумилев слишком хорошо разбирался в поэтическом мастерстве, чтобы не ценить Блока вовсе. Но это не мешало ему не любить Блока

лично. Не знаю, каковы были их отношения прежде того, но, приехав в Петербург, я застал обоюдную вражду. Не думаю, чтобы ее причины были мелочные, хотя Гумилев, очень считавшийся с тем, кто какое место занимает в поэтической иерархии, мог завидовать Блоку. Вероятно, что дело тут было в более серьезных расхождениях. Враждебны были мирозерцания, резко противоположны литературные задачи. Главное в поэзии Блока, ее «сокрытый двигатель» и ее душевно-духовный смысл, должны были быть Гумилеву чужды. Для Гумилева в Блоке с особою ясностью должны были проступать враждебные и не совсем понятные ему стороны символизма. Не даром манифесты акмеистов были направлены прежде всего против Блока и Белого. Блока же в Гумилеве должна была задевать «пустоватость», «ненужность», «внешность». Впрочем, с поэзией Гумилева, если бы дело все только в ней заключалось, Блок, вероятно, примирился бы, мог бы, во всяком случае, отнестись к ней с большей терпимостью. Но были тут два осложняющих обстоятельства. На ученика Гумилева — обрушивалась накоплявшаяся годами вражда к учителю — Брюсову, вражда тем более острая, что она возникла на развалинах бывшей любви. Акмеизм и все то, что позднее называли «гумилевщиной» казались Блоку разложением «брюсовщины». Во-вторых — Гумилев был не одинок. С каждым годом увеличивалось его влияние на литературную молодежь, и это влияние Блок считал духовно и поэтически пагубным.

В начале 1921 года вражда пробилась наружу. Чтобы попутно коснуться еще некоторых происшествий, я начну несколько издалека. Еще года за четыре до войны, в Петербурге возникло поэтическое сообщество, получившее название «Цех Поэтов». В нем участвовали Блок, Сергей Городецкий, Георгий Чулков, Юрий Верховский, Николай Клюев, Гумилев и даже Алексей Толстой, в ту пору еще писавший стихи. Из молодежи — О. Мандельштам, Георгий Нарбут и Анна Ахматова, тогдашняя жена Гумилева. Первоначально объединение было в литературном смысле беспартийно. Потом завладели им акмеисты, а несочувствующие акмеизму, в том числе Блок, постепенно отпали. В эпоху войны и военного коммунизма акмеизм кончился, «Цех» заглох. В начале 1921 г. Гумилев вздумал его воскресить и пригласил меня в нем участвовать. Я спросил, будет — ли это **первый** «Цех», то есть беспартийный, или **второй**, акмеистский. Гумилев ответил, что первый, и я согласился. Как раз в тот вечер должно было состояться собрание, уже второе по счету. Я жил тогда в «Доме Искусств», много хворал и почти никого не видел. Перед собранием я зашел к соседу своему, Мандельштаму, и спросил его, почему до сих пор он мне ничего не сказал о возобновлении «Цеха». Мандельштам засмеялся:

— Да потому, что и нет никакого «Цеха». Блок, Сологуб и Ахматова отказались. Гумилеву только бы председательствовать. Он же любит играть в солдатики. А вы попались. Там нет никого, кроме гумилят.

— Позвольте, а сами-то вы что же делаете в таком «Цехе»? — спросил я с досадой. Мандельштам сделал очень серьезное лицо:

— Я там пью чай с конфетами.

В собрании, кроме Гумилева и Мандельштама, я застал еще пять человек. Читали стихи, разбирали их. «Цех» показался мне бесполезным, но и безвредным. Но на третьем собрании меня ждал неприятный сюрприз. Происходило вступление нового члена — молодого стихотворца Нельдихена. Неофит читал свои стихи. В сущности, это были стихотворения в прозе. По-своему они были даже восхитительны: той игривою глупостью, которая в них разливалась от первой строки до последней. Тот «я», от имени которого изъяснялся Нельдихен, являл собою образчик отборного и законченного дурака, при том — дурака счастливого, торжествующего и беспредельно самодовольного. Нельдихен читал:

Женщины, двухполовинойаршинные куклы,  
Хохочущие, бугристотелые,  
Мягкогубые, прозрачноглазые, каштановолосые.  
Носящие всевозможные распашонки и матовые  
висюльки — серьги,  
Любящие мои альтоголосые проповеди и плохие  
хозяйки  
О, как волнуют меня такие женщины!  
По улицам всюду ходят пары,  
У всех есть жены и любовницы,  
А у меня нет подходящих;  
Я совсем не какой-нибудь урод,  
Когда я полнею, я даже бываю лицом похож  
на Байрона...

Дальше рассказывалось, что нашлась все-таки какая-то Женька или Сонька, которой он подарил карманный фонарик, но она стала ему изменять с бухгалтером, и он, чтобы отплатить, украл у нее фонарик, когда ее не было дома.

Все это декламировалось нараспев и совсем серьезно. Слушатели улыбались. Они не покатывались со смеху только потому, что знали

историю фонарика чуть ли не наизусть: излияния Нельдихена уже были в славе. Авторское чтение в «Цехе» было всего лишь формальностью, до которых Гумилев был охотник. Когда Нельдихен кончил, Гумилев, в качестве «синдика» произнес приветственное слово. Прежде всего, он отметил, что глупость доньше была в загоне, поэты ею несправедливо гнушались. Однако, пора ей иметь свой голос в литературе. Глупость — такое же естественное свойство, как ум. Можно ее развивать, культивировать. Припомнив двестише Бальмонта:

Но мерзок сердцу облик идиота,  
И глупости я не могу понять, —

Гумилев назвал его жестоким и в лице Нельдихена приветствовал вступление очевидной глупости в «Цех Поэтов».

После собрания я спросил Гумилева, стоит ли издеваться над Нельдихеном и зачем нужен Нельдихен в «Цехе». К моему удивлению, Гумилев заявил, что издевательства никакого нет.

— Не мое дело, — сказал он, разбирать, кто из поэтов что думает. Я только сужу, как они излагают свои мысли или свои глупости. Сам я не хотел бы быть дураком, но я не вправе требовать ума от Нельдихена. Свою глупость он выражает с таким умением, какое не дается и многим умным. А ведь поэзия и есть умение. Значит, Нельдихен — поэт, и мой долг — принять его в «Цех».

Несколько времени спустя должен был состояться публичный вечер «Цеха» с участием Нельдихена. Я послал Гумилеву письмо о своем выходе из «Цеха». Однако, я сделал это не только из-за Нельдихена. У меня была и другая причина, гораздо более веская.

Еще до моего переезда в Петербург, там образовалось отделение Всероссийского Союза Поэтов, правление которого находилось в Москве и возглавлялось чуть ли не самим Луначарским. Не помню, из кого состояло правление, председателем же его был Блок. Однажды ночью пришел ко мне Мандельштам и сообщил, что «блоковское» правление Союза час тому назад свергнуто и заменено другим, в состав которого вошли исключительно члены «Цеха» — в том числе я. Председателем избран Гумилев. Переворот совершился как-то странно — повестки были разосланы чуть ли не за час до собрания, и далеко не все их получили. Все это мне не понравилось, и я сказал, что напрасно меня выбрали, меня не спросив. Мандельштам стал меня уговаривать «не подымать истории»,

чтобы не обижать Гумилева. Из его слов я понял, что «перевыборы» были подстроены некоторыми членами «Цеха», которым надобно было завладеть печатью Союза, чтобы при помощи ее обдѣлывать дела мошеннического и коммерческого свойства. Для этого они и прикрылись именем и положением Гумилева. Гумилева же, как ребенка, соблазнили титулом председателя. Кончилось тем, что я пообещал формально из правления не выходить, но фактически не участвовал ни в его заседаниях, ни вообще в делах Союза. Это-то и толкнуло меня на выход из «Цеха».

Блок своим председательством в Союзе, разумеется, не дорожил. Но ему не понравились явно подстроенные выборы, и он был недоволен тем, что отныне литературное влияние Гумилева будет подкреплено нажимом со стороны союзного правления. И Блок решился выйти из неподвижности.

Как раз в это время удалось получить разрешение на издание еженедельника под названием «Литературная Газета». В редакцию вошли А. Н. Тихонов, Е. И. Замятин и К. И. Чуковский. Для первого номера Блок дал статью, направленную против Гумилева и «Цеха». Называлась она «Без божества, без вдохновенья». «Литературная Газета» прекратила существование раньше, чем начала выходить: за рассказ Замятина и мою передовицу номер был конфискован еще в типографии по распоряжению Зиновьева. Статью Блока я прочел лишь много лет спустя, в собрании его сочинений. Признаться, она мне кажется очень вялой и туманной, как многие статьи Блока. Но в ту пору ходили слухи, что она очень резка. В одну из тогдашних встреч Блок и сам говорил мне то же. С досадой он говорил о том, что Гумилев делает поэтов «из ничего».

Это был мой последний разговор с Блоком. Но издали я его видел еще один раз. 1 марта был назначен вечер его стихов в Малом Театре. По советскому времени было уже почти восемь часов, по настоящему пять. Не спеша, шел я по Театральной улице, потому что люблю это время дня. Было светло и пустынно. В Чернышевском сквере я услышал за собой торопливые легонькие шаги и тотчас же — торопливый, но слабый голос:

— Скорее, скорее, а то опоздаете!

Это была мать Блока. Маленькая, сухая, с горячим румянцем на морщинистых щечках, она чуть не бежала рядом со мной и, задыхаясь, без умолку лепетала: о том, что волнуется за Сашу, что мы вот-вот опоздаем, что боится, как бы Чуковский не наговорил пошлостей (Чуковский должен был сказать вступительное слово). Потом — что я непременно, непременно должен зайти за кулисы к Саше, что у Саши побаливает нога, но главное, главное как бы нам только не опоздать! Наконец, мы пришли. Места наши оказались рядом, но она, повертевшись, поволновавшись, вскочила и

убежала — должно быть, на сцену.

Во втором отделении, после антракта, вышел Блок. Спокойный и бледный, остановился посреди сцены и стал читать, по обыкновению пряча в карман то одну, то другую руку. Он прочитал лишь несколько стихотворений — с проникновенною простотой и глубокой серьезностью, о которой лучше всего сказать словом Пушкина: «с важностью». Слова он произносил очень медленно, связывая их едва уловимым напевом, внятным, быть может, лишь тем, кто умет улавливать внутренний ход стиха. Читал отчетливо, ясно, выговаривая каждую букву, но при том шевелили лишь губами, не разжимая зубов. Когда ему хлопали, он не высказывал ни благодарности, ни притворного невнимания. С неподвижным лицом опускал глаза, смотрел в землю и терпеливо ждал тишины. Последним он прочитал «Перед судом» — одно из самых безнадежных своих стихотворений:

Что же ты потупилась в смущеньи?  
Посмотри, как прежде, на меня.  
Вот какой ты стала — в униженьи,  
В резком, неподкупном свете дня!  
Я и сам ведь не такой — не прежний,  
Недоступный, гордый, чистый, злой.  
Я смотрю добрей и безнадежней  
На простой и скучный путь земной...

То и дело ему кричали: «Двенадцать!», «Двенадцать!» — но он, казалось, не слышал этого. Только глядел все угрюмее, сжимал зубы. И хотя он читал прекрасно (лучшего чтения я никогда не слышал) — все приметнее становилось, что читает он машинально, лишь повторяя привычные, давно затверженные интонации. Публика требовала, чтобы он явился перед ней прежним Блоком, каким она его знала или воображала, — и он, как актер, с мучением играл перед нею того Блока, которого уже не было. Может быть, с такой ясностью я увидел все это в его лице не тогда, а лишь после, по воспоминанию, когда смерть закончила и объяснила последнюю главу его жизни. Но ясно и твердо помню, что страдание и отчужденность наполняли в тот вечер все его существо. Это было так очевидно, так разительно, что когда задернулся занавес и утихли последние аплодисменты и крики, мне показалось неловко и грубо идти к нему за кулисы.

Через несколько дней, уже больной, он ухал в Москву. Вернувшись, слег и больше уже не встал.

В пушкинской своей речи, ровно за полгода до смерти, он говорил:

«Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармоний. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, — тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему больше нечем: жизнь потеряла смысл».

Вероятно, тот, кто первый сказал, что Блок задохнулся, взял это именно отсюда. И он был прав. Не странно ли: Блок умер несколько месяцев, на глазах у всех, его лечили врачи, — и никто не называл и не умел назвать его болезнь. Началось с боли в ноге. Потом говорили о слабости сердца. Перед смертью он сильно страдал. Но от чего же он все-таки умер? Неизвестно. Он умер как-то «вообще», оттого что был болен весь, оттого что не мог больше жить. Он умер от смерти.

\* \* \*

Мой уход из «Цеха Поэтов» не повлиял на наши личные отношения с Гумилевым. Около этого времени он тоже поселился в «Доме Искусств», и мы стали видеться даже чаще. Он жил деятельно и бодро. Конец его начался приблизительно в то же время, когда и конец Блока.

На Пасхе вернулся из Москвы в Петербург один наш общий друг, человек большого таланта и большого легкомыслия. Жил он, как птица небесная, говорил — что Бог на душу положит. Провокаторы и шпионы к нему так и льнули: про писателей от него можно было узнать все, что нужно. Из Москвы привез он нового своего знакомого. Знакомец был молод, приятен в обхождении, щедр на небольшие подарки: папиросами, сладостями и прочим. Называл он себя начинающим поэтом, со всеми спешил познакомиться. Привели его и ко мне, но я скоро его спровадил. Гумилеву он очень понравился.

Новый знакомец стал у него частым гостем. Помогал налаживать «Дом Поэтов» (филиал Союза), козырял связями в высших советских сферах. Не одному мне казался он подозрителен. Гумилева пытались предостеречь — из этого ничего не вышло. Словом, не могу утверждать, что этот человек был главным и единственным виновником гибели Гумилева, но после того, как Гумилев был арестован, он разом исчез, как в воду канул. Уже за границей я узнал от Максима Горького, что показания этого человека



фигурировали в гумилевском деле и что он был подослан.

В конце лета я стал собираться в деревню на отдых. В среду, 3-го августа, мне предстояло ухать. Вечером накануне отъезда пошел я проститься кое с кем из соседей по «Дому Искусств». Уже часов в десять постучался к Гумилеву. Он был дома, отдыхал после лекций.

Мы были в хороших отношениях, но короткости между нами не было. И вот, как два с половиной года тому назад меня удивил слишком официальный прием со стороны Гумилева, так теперь я не знал, чему приписать необычайную живость, с которой он обрадовался моему приходу. Он выказал какую-то особую даже теплоту, ему, как будто бы, и вообще несвойственную.

Мне нужно было еще зайти к баронессе В. И. Иксуль, жившей этажом ниже. Но каждый раз, как я подымался уйти, Гумилев начинал упрашивать: «Посидите еще». Так я и не попал к Варваре Ивановне, просидев у Гумилева часов до двух ночи. Он был на редкость весел. Говорил много, на разные темы. Мне почему-то запомнился только его рассказ о пребывании в царскосельском лазарете, о государыне Александре Федоровне и великих княжнах. Потом Гумилев стал меня уверять, что ему суждено прожить очень долго — «по крайней мере до девяноста лет». Он все повторял:

— Непременно до девяноста лет, уж никак не меньше.

До тех пор собирался написать кипу книг. Упрекал меня:

— Вот, мы однолетки с вами, а поглядите: я, право, на десять лет моложе. Это все потому, что я люблю молодежь. Я со своими студистками в жмурки играю — и сегодня играл. И потому непременно проживу до девяноста лет, а вы через пять лет скиснете.

И он, хохоча, показывал, как через пять лет я буду, сгорбившись, волочить ноги, и как он будет выступать «молодцом».

Прощаясь, я попросил разрешения принести ему на следующий день кое-какие вещи на сохранение. Когда на утро, в условленный час, я с вещами подошел к дверям Гумилева, мне на стук никто не ответил. В столовой служитель Ефим сообщил мне, что ночью Гумилева арестовали и увезли. Итак, я был последним, кто видел его на воле. В его преувеличенной радости моему приходу, должно быть, было предчувствие, что после меня он уже никого не увидит.

Я пошел к себе — и застал там поэтессу Надежду Павлович, общую нашу с Блоком приятельницу. Она только что прибежала от Блока красная от жары и запухшая от слез. Она сказала мне, что у Блока началась агония. Как водится, я стал утешать ее, обнадеживать. Тогда, в последнем

отчаянии, она подбежала ко мне и, захлебываясь слезами, сказала:

— Ничего вы не знаете... никому не говорите... уже несколько дней... он сошел с ума!

Через несколько дней, когда я был уже в деревне, Андрей Белый известил меня о кончине Блока. 14 числа, в воскресенье, отслужили мы по нем панихиду в деревенской церкви. По вечерам, у костров, собиралась местная молодежь, пела песни. Мне захотелось тайком помянуть Блока. Я предложил спеть «Коробейников», которых он так любил. Странно — никто не знал «Коробейников».

В начале сентября мы узнали, что Гумилев убит. Письма из Петербурга шли мрачные, с полунамеками, с умолчаниями. Когда вернулся я в город, там еще не опомнились после этих смертей.

В начале 1922 г., когда театр, о котором перед арестом много хлопотал Гумилев, поставил его пьесу «Гондла», на генеральной репетиции, а потом и на первом представлении, публика стала вызывать:

— Автора!

Пьесу велели снять с репертуара.

*Париж, 1931.*

## Гершензон

Однажды, еще в раннюю пору нашего знакомства, зимнею ночью, в Москве, провожая меня через садик, чтобы запереть за мною калитку, Гершензон пошутил:

— Вот какой вы народ, поэты: мы о вас пишем, а нет того, чтобы кто-нибудь написал стихи об нас, об историках.

— Погодите, Михаил Осипович, вот я напишу о вас.

Он усмехнулся в усы:

— Не напишете. Ну, покойной ночи.

— Покойной ночи.

Я потом всегда помнил свое обещание, не раз брался и за стихи, — да так и не написал их: все казалось мне слабо и недостойно его.

Но все-таки мне приятно, что след наших встреч остался в моих стихах. В книге «Путем зерна» есть у меня стихотворение «2-го ноября». Речь идет о том дне, когда, после октябрьского переворота, люди в Москве впервые

Повыползли из каменных подвалов  
На улицы.

Дальше — рассказано вкратце, как я ходил к Михаилу Осиповичу:

К моим друзьям в тот день пошел и я.  
Узнал, что живы, целы, дети дома,  
Чего ж еще хотеть? Побрел домой.

Книжка вышла в 1920 г., и Гершензон тогда же читал ее, но об этих стихах у нас разговору не было. Только в 1922 г., посылая ему из Петербурга 2-е издание, дополненное, я внутри, на полях, против приведенных строк, приписал: «Это про Вас». Я рассчитывал на то, что книгу, недавно читанную, он сейчас перечитывать не станет, а приписку мою увидит, может быть, через несколько лет, когда я, вероятно, буду далеко от него. Так и вышло. 23 октября 1924 г. он писал мне: «Не знаю, где вы теперь... Сажу дома, хожу по комнате, читаю, — сегодня читал Ваше

„Путем зерна“».

Вероятно, он взял именно второе издание, прочел, увидел мою приписку и захотел написать мне. Это было последнее из его писем. Посланное в Ирландию, оно попало ко мне в Италию только в самые последние дни 1924 г. Я ответил на него спустя несколько дней, — но сам уже не получил ответа: Гершензон умирал.

\* \* \*

Летом 1915 года я послал Гершензону отпечаток статьи о петербургских повестях Пушкина. Письмо, полученное в ответ, удивило меня простотою и задушевностью. Я не был лично знаком с Михаилом Осиповичем, и хотя высоко ценил его, — все же не представлял себе Гершензона иначе, как в озарении самодовольного величия, по которому за версту познаются «солидные ученые». Я даже и вообще-то не думал, что столь важная особа снизойдет до переписки с автором единственной статьи о Пушкине.

Однако, приехавший вскоре Б. А. Садовской пришел ко мне как-то вечером и сказал:

— Пойдемте завтра к Гершензону. Он вас зовет.

Арбат, Никольский переулок, 13. Деревянный забор, поросший травой двор. Во дворе направо — сторожка, налево еще какое-то старое здание. Каменная дорожка ведет в глубь двора, к двухэтажному дому новой постройки. За домом сад с небольшим огородом. Второй этаж занимает Гершензон, точнее семья его. Небольшая столовая служит и для «приемов». А сам он живет еще выше, в мезонине, которого со двора не видно.

Хоть и ободренный письмом и зовом (через Садовского) — все же впервые пришел я сюда не без робости. Но робость прошла в тот же вечер, а потом уже целых семь лет, до последнего дня перед отъездом моим из России, ходил я сюда с уверенностью в хорошем приеме, ходил поделиться житейскими заботами, и новыми стихами, и задуманными работами, и, кажется, всеми огорчениями и всеми радостями, — хоть радостей-то, пожалуй, было не так уж много.

\* \* \*

Маленький, часто откидывающий голову назад, густобровый, с черной бородкой, поседевшей сильно в последние годы; с такими же усами,

нависающими на пухлый рот; с глазами слегка на выкате; с мясистым, чуть горбоватым носом, прищемленным пенсне; с волосатыми руками, с выпуклыми коленями, — наружностью был он типичный еврей. Много жестикулировал. Говорил быстро, почти всегда возбужденно. Речь, очень ясная по существу, казалась косноязычной, не будучи такою в действительности. Это происходило от глухого голоса, от плохой дикции и от очень странного акцента, в котором резко — еврейские интонации кишиневского уроженца сочетались с неизвестно откуда взявшимся оканьем заправского волгара.

Комната, где он жил, большая, квадратная, в три окна, содержала не много мебели. Две невысокие (человеку до пояса) книжные полки; два стола: один — вроде обеденного, но не большой, другой — письменный, совсем маленький; низкая, плоская кровать у стены, с серым байковым одеялом и единственной подушкой; вот и все, кажется, если не считать двух венских стульев да кожаного, с высокою спинкой, старинного кресла. В это кресло (левая ручка всегда отскакивает, расклеилась) Гершензон усаживает гостя. Оно — историческое, из кабинета Чаадаева.

Стены белые, гладкие, почти пустые. Только тропининский Пушкин (фототипия) да гипсовая маска, тоже Пушкина. Кажется, еще чей-то портрет, может быть — Огарева, не помню. В кабинете светло, просторно и очень чисто. Немного похоже на санаторий. Нет никакой нарочитости, но все как-то само собой сведено к простейшим предметам и линиям. Даже книги — только самые необходимые для текущей работы; прочие — в другой комнате. Здесь живет человек, не любящий лишнего.

\* \* \*

Кончая гимназию, Гершензон мечтал о филологическом факультете, но отец не хотел и слышать об этом. В восьмидесятых годах, да и позже, для филолога было два пути: либо учительство, либо, в лучшем случае, профессорство, иначе говоря — служба по министерству народного просвещения, для еврея неизбежно связанная с крещением. Старик — Гершензон был в ужасе. Михаила Осиповича отправили в Германию, где он поступил в какое-то специальное высшее учебное заведение, по технической или по инженерной части. Там пробыл он, кажется, года два — и не вынес: послал прошение министру народного просвещения о зачислении на филологический факультет Московского Университета вольнослушателем. Потому вольнослушателем, что в число студентов

попасть не мечтал: под процентную норму подходили лишь те, кто кончал гимназию с золотой медалью; у Гершензона медали не было. Но тут произошло нечто почти чудесное: из министерства получен ответ, что Гершензон зачислен не вольнослушателем, а прямо студентом. Причина была простая: на филологический факультет евреи не шли, и прошение Михаила Осиповича было в тот год единственное, поступившее от еврея: он тем самым автоматически подошел под норму. Однако эта удача обернулась для Гершензона бедой: отец, вообще недовольный упрямством Михаила Осиповича, никак не поверил в «чудо» и решил, что Михаил Осипович **уже крестился**. Кончилось дело если не родительским проклятием, то во всяком случае — полным отказом в деньгах. Только мать наскребла на дорогу от Кишинева до Москвы. На московские стогны Гершензон ступил почти без копейки денег. Впрочем, какие-то знакомые устроили ему урок. Но тут — снова беда: дисциплина была в те времена не шуточная, и студент обязан был иметь форму, а в иных случаях являться и при шпаге. Добрые люди нашлись опять: дали Гершензону старый студенческий сюртук, который сидел мешком, и даже шпагу, и даже... за неимением форменного пальто, ему дали николаевскую шинель! Николаевскую шинель, светло-серую, с бобровым воротником и с пелериной, доходившей ему чуть не до колен! Она была ему так непомерно велика,

— что вы понимаете, обе полы мне приходилось все время носить в руках!

Так началась ученая карьера Гершензона и его бедность.

\* \* \*

Тыча себе тремя пальцами куда-то «под ложечку», туда, где в петлю потертой жилетки продета часовая цепочка, Гершензон говорит:

— Я расстраиваюсь и волнуюсь только нутром, до сих пор: а выше всегда спокоен и ясен.

Житейские тревоги часто доходили ему «под табак». Но до ума и сердца он умел их не допускать. Они его не ожесточали, не омрачали, не мутили прекрасной чистоты его духа.

Это, однако ж, не переходило ни в беззаботность, ни в то варварское презрение к житейским удобствам, которым так любят у нас щеголять иные из косматых «людей мысли». Не притворялся и бессеребренником. Напротив, умел он быть бережливым, хозяйливым, домовитым, любил

обстоятельно поговорить о гонораре. Даже знал себя «в этом деле максималистом». Книжная лавка писателей стоном стонала, когда, в 1919 г., он вздумал продать ей лишние книги из своей библиотеки.

В тяжкие годы революции он занимался «полезными изобретениями». Додумался, например, до того, что, выкурив папиросу, не выбрасывал окурка, а осторожно стаскивал с мундштука трубочку папиросной бумаги, вновь набивал ее табаком и таким образом заставлял одну гильзу служить два раза. Путем упражнения довел технику этого дела до высокого совершенства. Потом изобрел ящик, изнутри обитый газетной бумагой и плотно закупоривающейся: ежели в этот ящик поставить кипящую кашу, она в нем дойдет и распарится сама по себе, без дров. Можно и суп.

Дело прошлое: знаю наверное, что Гершензон с женой, Марией Борисовной, тайком от детей, иногда целыми сутками ничего не ели, питаясь пустым чаем и оставляя для детей все, что было в доме. И вот, голодая, простаивая на морозе в очередях, коля дрова и таская их по лестнице, — не притворялся он, будто все это ему нипочем, но и не разыгрывал мученика: был прост, серьезен, но — ясен. Скинет вязанку с плеч, отряхнется, отдышится, а потом вдруг — так весело поглядит — и сразу заговорит о важном, нужном, большом, что надумал, тащась куда-нибудь в Кремль, хлопотать за арестованного писателя.

\* \* \*

Как-то так складывалось, что нам доводилось часто ходить вместе по городу. Для меня это было сущим мучением. На улице я хорошо примечаю все, что случается, — но дурю; кажется, во всю жизнь ни одной путной мысли не пришло мне в голову на ходу. С Гершензоном было обратное. Чуть на улицу тут-то и начинает он либо философствовать, либо сличать пушкинские варианты, — а я ничего не понимаю и отвечаю невпопад. Зато Гершензон поминутно стремится то понапрасну перебежать улицу, норовя попасть под ломовика — с цитатой из Платона на устах, то свернуть в переулок, который нас уведет в сторону, противоположную той, куда мы направляемся.

Он был близорук, страдал чем-то вроде куриной слепоты, не умел ориентироваться и не знал Москвы до странности. Весною семнадцатого года мы с ним однажды отправились в Художественный театр на собрание писателей. До Страстного монастыря, я довез его на трамвае. Потом стали пешком спускаться к Камергерскому переулку. Вечер только еще наступал.

Магазины сияли. По тротуарам сплошной стеной шел народ, — главным образом отпускные офицеры, солдаты, в те дни познавшие сладость коммерции, проститутки. Гершензона чуть не сбивали с ног, а он был потрясен. Вдруг даже остановился:

— Послушайте, это что за улица?

— Михаил Осипович, что с вами? Да ведь это Тверская.

— Тверская? Ага! Фу-ты, какая здесь роскошь, однако!

Его понятия о «роскоши» были своеобразны. Вполне зная толк в необходимом и умея ценить его, он был детски простодушен ко всему, что хоть сколько-нибудь напоминало об излишестве.

В 1920 г. мы жили в одной санатории. Я каждый день ходил в коричневом шелковом галстуке, который давно уже был выброшен моим братом, а мною прожжен махоркою. Но — на нем были какие-то разводы. Гершензон не забывал каждый день потрогать мой галстук, приговаривая:

— Фу-ты, какой он франт!

Однажды он вздумал нам с Марией Борисовной описать «роскошное» платье одной московской меценатки. Мы не могли удержаться и покатывались со смеху, слушая модные наблюдения Михаила Осиповича: выходило, что дама одета была в каких-то одних только «позументах» и «декольте».

Летом 1923 г., в Берлине, в очень жаркое утро, пришлось ему много бегать по разным полицейским учреждениям. Он вернулся, задыхаясь и обливаясь потом:

— Вы знаете, до чего дошло? До того дошло, что я, было, вздумал зайти в какое-нибудь ихнее кафе, выпить стакан кофе. Но после одумался: ведь отец семейства!..

Это было сказано без малейшей иронии, совершенно серьезно.

Минуя анекдоты, я думаю, что в его самоограничении был подлинный аскетизм.

\* \* \*

Те, кто прожил в Москве самые трудные годы, — восемнадцатый, девятнадцатый и двадцатый, — никогда не забудут, каким хорошим товарищем оказался Гершензон. Именно ему первому пришла идея Союза Писателей, который так облегчил тогда нашу жизнь и без которого, думаю, многие писатели просто пропали бы. Он был самым деятельным из организаторов Союза и первым его председателем. Но, поставив Союз на



ноги и пожертвовав этому делу огромное количество времени, труда и нервов, — он сложил с себя председательство и остался рядовым членом Союза. И все-таки в самые трудные минуты Союз шел все к нему же — за советом и помощью.

Не только в общих делах но и в частных случаях Гершензон умел и любил быть подмогою. Многие обязаны ему многим. Он умел угадывать чужую беду — и не на словах, а на деле спешил помочь. Скажу о себе, что если б не Гершензон — плохо мне было бы в 1916–1918 гг., когда я тяжело хворал. Гершензон добывал для меня работу и деньги; Гершензон, а не кто другой, хлопотал по моим делам, когда я уехал в Крым. А уж о душевной поддержке — и говорить нечего. Но все это делалось с изумительной простотой, без всякой позы и сентиментальности. Его внимательность и чуткость были почти чудесны. Я, к сожалению, сейчас не могу подробно описать один случай, когда Гершензон выказал лукавую и веселую проницательность, граничащую с ясновидением.

Доброта не делала его ни пресным, ни мягкотелым. Был он кипуч, порывист и любил правду, всю, полностью, какова бы она ни была. Он говорил все, что думал, — прямо в глаза. Никогда не был груб и обиден, — но и не сглаживал углов, не золотил пилюль.

— Начистоту! — покрикивал он, — Начистоту!

Это было одно из его любимых слов. И во всех поступках Гершензона, и в его доме, и в его отношении к детям, — была эта **чистота правды**.

\* \* \*

При всей доброте, не был он слеп. В людях тщательно разбирался, и, не будучи по природе обидчиком, — просто проходил мимо тех, кто ему не нравился. В каждом старался он найти хорошее, но если не находил вычеркивал человека из своего обихода.

При случае умел сказать зло и метко. Об одном расторопном и разностороннем литераторе сказал:

— Он похож на магазин с вывеской: «любой предмет — пятьдесят копеек на выбор».

Однажды я высказал удивление: зачем X, что бы ни писал — поминает про свою ссылку в Сибирь?

— Ну, как же вы не понимаете? — сказал Гершензон: — Это же его орден; орден пришит к мундиру и сам собой надевается вместе с мундиром.

Иногда он проявлял даже резкую нетерпимость. Мы как-то ехали в трамвае с Девичьего Поля к Арбатским Воротам. У Смоленского рынка в вагон вошел почтеннейший господин, поздоровался с Гершензоном и завел разговор. Гершензон отвечал, поглядывая в окно. Вдруг, в начале Арбата, он кинулся к выходу. Я его стал удерживать:

— Куда вы? Нам еще две остановки.

— Нет, нам слезать!

И, не слушая меня, выскочил из вагона. На тротуаре он на меня накинулся:

— Зачем вы меня удерживали? Что ж, вы хотели, чтобы я с ним еще разговаривал? Нет, уж лучше дойдем пешком.

— Да кто это?

— Профессор Р.: самый надутый дурак, какого я знаю.

Не вынося глупости, ханжества, доктринерства, даже на них обижаясь, он был незлобив на обиды, нанесенные ему лично. Однажды некий Бобров прислал ему свою книжку: «Новое о стихосложении Пушкина». Книжка, однако ж, была завернута в номер не то «Земщины», не то «Русской Земли» — с погромной антисемитской статьей того же автора. Статья была тщательно обведена красным карандашом. Рассказывая об этом, Гершензон смялся, а говоря о Боброве всегда прибавлял:

— А все-таки человек он умный.

Еще в начале знакомства он вдруг спросил:

— У вас хороший характер?

— Не важный.

— Ну, значит, скоро поссоримся: у меня ужасный характер. Вот вы увидите.

Слава Богу, мы не поссорились. «Ужасного» в его характере оказалось одно: упрямство. В общем он умел слушать возражения и умел иногда соглашаться с ними. Но часто бывало иначе: он вдруг безнадежно махал рукой и воскликнув: «Бог знает, что вы говорите!» — резко переходил на другую тему.

Он был одним из самых глубоких и тонких ценителей стихов, какие мне встречались. Но и здесь были у него два «пунктика», против которых не помогало ничто: во-первых, он утверждал, что качество первой строчки всегда определяет качество всего стихотворения; во-вторых, считал почему-то, что если в четырехстрочной строфе первый стих рифмуется с четвертым, а второй с третьим, то это — пошлость. Я соглашался покривить душой и помириться на компромиссе: безвкусица. Но Гершензон настаивал на пошлости. Так и не сговорились.

Дважды мне довелось делать с ним общую работу; иной раз и тут приходилось сдаваться не только перед его знанием и опытностью, но и перед упрямством. Однако ж, надо отдать справедливость: в тех случаях, когда уступать приходилось ему, — он не хмурился и не дулся. Была высокая честность в его мысли: признавая свою неправоту, он всякий раз даже как будто радовался, что найден путь, более верный.

Впрочем, его упрямство отчасти вытекало из его подхода к работе. В свои историко-литературные исследования вводил он не только творческое, но даже интуитивное начало. Изучение фактов, мне кажется, представлялось ему более средством для **проверки догадок**, нежели добыванием материала для выводов. Нередко это вело его к ошибкам. Его «Мудрость Пушкина» оказалась в известной мере «мудростью Гершензона». Но, во-первых, это все-таки «мудрость», а во-вторых — то, что Гершензон угадал верно, могло быть угадано только им и только его путем. В некотором смысле ошибки Гершензона ценнее и глубже многих правд. Он угадал в Пушкине многое, «что и не снилось нашим мудрецам». Но, конечно, бывали у нас и такие, примерно, диалоги:

**Я.** Михаил Осипович, мне кажется, вы ошибаетесь. Это не так.

**Гершензон.** А я знаю, что это так!

**Я.** Да ведь сам Пушкин...

**Гершензон.** Что ж, что сам Пушкин? Может быть, я о нем знаю больше, чем он сам. Я знаю, что он хотел сказать, и что хотел скрыть, — и еще то, что выговаривал, сам не понимая, как пифия.

К тем, кого он изучал, было у него совсем особое отношение. Странно и увлекательно было слушать его рассказы об Огареве, Печерине, Герцене. Казалось, он говорит о личных знакомых. Он «чувствовал» умерших, как живых. Однажды, на какое-то мое толкование стихов Дельвига, он возразил:

— Нет, у Дельвига эти слова означают другое: ведь он был толстый, одутловатый...

\* \* \*

Он терпеть не мог, чтоб его называли критиком. «Я историк, а не критик», поправлял он. Однако, избегая печатно высказываться о новой литературе, он следил за ней очень зорко. Из современных русских писателей особенно восхищался Андреем Белым; Вячеслав Иванов, Сологуб, Блок были его любимыми поэтами; высоко ставил и лично любил

А. М. Ремизова, любовно говорил о таланте Алексея Толстого. Не любя стихов Брюсова, уважал его, как историка литературы. В общем же был широк и старался найти хорошее даже в писателях, внутренне ему чуждых.

За девять лет нашего знакомства я привык читать или посылать ему почти все свои стихи. Его критика всегда была доброжелательна — и беспощадна. Резко, «начистоту» высказывал он свои мнения. С ними я не всегда соглашался, но многими самыми меткими словами о моих писаниях я обязан ему. Никто не бранил меня так сурово, как он, но и ничьей похвалой я не дорожил так, как похвалой Гершензона. Ибо знал, что и брань, и похвалы идут от самого, может быть, чистого сердца, какое мне доводилось встречать.

Хворал он давно, но умер от внезапного ухудшения.<sup>[12]</sup> Страдания были сильные. Он знал, что умирает, но конец наступил так быстро, что он не успел проститься с близкими. Похоронили его на скромном Ваганьковском кладбище. На его могиле можно бы написать слова из Послания Пушкина к Чаадаеву:

Всегда мудрец, а иногда мечтатель.

*Сорренто, 12 апреля 1925.*

## Сологуб

И верен я, отец мой, Дьявол,  
Обету, данному в злой час,  
Когда я в бурном море плавал  
И Ты меня из бездны спас.  
Тебя, отец мой, я прославлю  
В укор несправедному дню,  
Хулу над миром я восставлю  
И соблазняя соблазню.

.....

У тебя, милосердного Бога,  
Много славы, и света, и сил.  
Дай мне жизни земной хоть немного,  
Чтоб я новые песни сложил.

*Федор Сологуб.*

Он был сыном портного и кухарки. Родился в 1863 году. В те времена «выйти в люди» человеку такого происхождения было нелегко. Должно быть, это нелегко далось и ему. Но он выбрался, получил образование, стал учителем. О детских и юношеских годах его мы почти ничего не знаем. Учителя Федора Кузьмича Тетерникова, автора учебника геометрии, мы тоже не видим. В нашем поле зрения он является прямо уже писателем Федором Сологубом, лет которому уже за тридцать, а по виду и того много больше. Никто не видел его молодым, никто не видел, как он старел. Точно вдруг, откуда-то появился древний и молчаливый. «Рожденный не в первый раз и уже не первый завершая круг внешних преобразений...» — так начинает он предисловие к лучшей, центральной в его творчестве книге стихов. Кто-то рассказывал, как Сологуб иногда покидал многолюдное собрание своих гостей, молча уходил в кабинет и там оставался долго. Был радушным хозяином, но жажда одиночества была в нем сильнее гостеприимства. Впрочем, и на людях он порой точно отсутствовал. Слушал — и не слышал. Молчал. Закрывал глаза. Засыпал. Витал где-то, куда нам пути не было. Звали его колдуном, ведуном, чародеем.

Я впервые увидел его в начале 1908 года, в Москве, у одного

литератора. Это был тот самый Сологуб, которого на известном портрете так схоже изобразил Кустодиев. Сидит мешковато на кресле, нога на ногу, слегка потирает маленькие, очень белые руки. Лысая голова, темя слегка заостренное, крышей, вокруг лысины — седина. Лицо чуть мучнистое, чуть одутловатое. На левой щеке, возле носа с легкой горбинкой, — большая белая бородавка. Рыжевато-седая борода клином, небольшая, и рыжевато-седые, висящие вниз усы. Пенсне на тонком шнурке, над переносицей складка, глаза полузакрыты. Когда Сологуб их открывает, их выражение можно бы передать вопросом:

— А вы все еще существуете?

Таким выражением глаз встретил и меня Сологуб, когда был я ему представлен. Шел мне двадцать второй год, и я Сологуба испугался. И этот страх никогда уже не проходил.

А в последний раз видел я Сологуба четырнадцать лет спустя, в Петербурге, тоже весной, после страшной смерти его жены. Постарел ли он? Нет, нисколько, все тот же. И молод никогда не был, и не старел.

\* \* \*

Обычно в творчестве поэта легко проследить изменение формальных навыков. Разнятся темпы таких изменений: у некоторых поэтов медленнее, у других быстрее; у одного и того же поэта смены происходят в разные периоды с неодинаковой скоростью. Разнятся и направления, в которых совершается эволюция формы: один поэт идет от сложности к простоте, другой от простоты к сложности; одни расширяют словарь свой, другие суживают; одни модернизируют свои приемы, другие архаизируют; одни поэты становятся самостоятельны после ряда подражаний, другие (это случается совсем не так редко, как принято думать) — напротив, утрачивают самостоятельность и делаются подражателями. Я намечаю лишь для примера самые основные линии творческих путей. В действительности, конечно, их несравненно больше, и главное — они несравненно сложнее. Каждая поэтическая судьба представляет собою единственный и неповторимый случай поэтического развития. Впрочем, все это, разумеется, слишком общеизвестно, и я бы не стал говорить об этом, если бы не то обстоятельство, что поэзия Сологуба мне кажется едва ли не исключительным случаем, когда проследить эволюцию формы почти невозможно. По-видимому, она почти отсутствует.

Сейчас нам известны стихи Сологуба за сорок лет. Он писал очень

много, быть может — слишком. Число его стихотворений выражается цифрой, во всяком случае, четырехзначной. У Сологуба всегда имелся большой запас неизданных пьес, написанных в разные времена. Собирая их в книги, он руководствовался не хронологией, а иными, чаще всего тематическими признаками (но иногда чисто просодическими: такова его книга, составленная из одних триолетов). Составлял книги приблизительно так, как составляют букеты; запас, о котором сказано выше, служил ему богатой оранжереей. И вот замечательно, что букеты оказывались очень стройными, легкими, лишенными стилистической пестроты или разноголосицы. Стихи самых разных эпох и отдаленных годов не только вполне уживались друг с другом, но и казались написанными одновременно. Сам Сологуб, несомненно, знал это свойство своих стихов. Порой, когда это ему было нужно, он брал стихи из одной книги и переносил их в другую. Они снова оказывались на месте, вплетались в новые сочетания, столь же стройные, как те, из которых были вынуты.

Вот, например, книга «Жемчужные светила». В нее вошли стихи с 1884 до 1911 года. Тут лишь небольшая часть написанного за этот период. Но Сологуб вознамерился дать известную гамму, собрать стихи определенного оттенка — и вполне мог это сделать, отобрав подходящие пьесы из написанного за целых двадцать восемь лет. И снова — не только ни одного формального или стилистического скачка, броска, диссонанса, но напротив: все точно бы одновременно писано. Несомненно, можно различить большую уверенность, твердость, законченность, больше вкуса и мастерства в поздних вещах — да и то разве лишь по сравнению с самыми ранними. В сущности, уже с начала девяностых годов Сологуб является во всеоружии. Он сразу «нашел себя», сразу очертил круг свой — и не выходит из него. С годами ему только легче и лучше удавалось то, что с самого начала сделалось сущностью его стиля. Раствор крепчал, насыщался, но по химическому составу оставался неизменным.

Сологуб появился на литературном поприще, как один из зачинателей самой молодой по тому времени поэтической группы. Но вступил он в нее уже поэтически не молодым. Среди своих литературных сверстников он сразу оказался самым зрелым, сложившимся и законченным. Его жизнь — без молодости, его поэзия — без ювенилий. И как в жизни, явившись старым, он больше уже не старел, так и мастерству его не был сужден закат. Одних своих литературных сверстников пережив физически, других он пережил поэтически: умер в полноте творческих сил, мастером трудолюбивым и строгим к себе.

Не раз приходилось читать, будто в последние годы отрекся он от «сатанических» пристрастий, исцелился от ядов, отравлявших его душу, перестал витать в мире пороков и призраков, примирился с простою жизнью, которую некогда проклинал, обратил благосклонный взор к земле и полюбил родину. Высказывалось при этом, будто благодетельную роль в «просветлении» Сологуба сыграла тягостная судьба России, которой декадентский поэт до тех пор как бы и не замечал и которую он увидел и полюбил в годы ее страданий.

Не спорю: такая концепция содержит в себе чрезвычайно много приятного. Мы любим наблюдать, как поэты перед смертью исправляются и просветляются. Предсмертная эволюция — наш конек. Открыли «эволюцию» — и можем с чистым сердцем хвалить покойника: хоть перед смертью, а сделался он таким же хорошим, как мы, и каким ему давно пора было сделаться.

К сожалению, все же приходится отказаться от наблюдений над эволюцией Сологуба: ее не было. Я нисколько не собираюсь отрицать наличность у Сологуба этих «просветленных» и «примиренных» мотивов, в частности — его любви к России. Но видеть в них «эволюцию» я бессилён. Эволюция была бы на лицо, если б эти мотивы составляли характерный и исключительный признак сологубовской поэзии последнего периода; если бы можно было наблюдать их первое появление, затем нарастание, наконец-то, как ими вытесняются прежние, с ними несогласные. Но именно этих явлений, необходимых для того, чтобы можно было говорить об эволюции, в наличности нет. Те мотивы, которые, в случае эволюции, должны бы исчезнуть из поэзии Сологуба, в действительности сохраняются до конца. Те, что должны бы теперь явиться впервые, — на самом деле существовали всегда или так давно, что их появление никак нельзя связывать ни с российской жизнью последних лет, ни с личным предсмертным «просветлением» Сологуба.

Я не пишу исследования, но и не хочу быть голословным. Сологуб, будто бы, в эти последние свои годы склонил благосклонный взор к явлениям обыденной жизни, полюбил землю, благословил родину и примирился с Богом. В том то и дело, что последние годы здесь ни при чем. Разве простенькие стихи, обращенные к ручью, «прогнавшему скорбные думы», не в 1884 году писаны? А разве ясное, ничем не омраченное любованье речкой с купающимися ребятами не 1888 годом помечено? Да



мало ли у Сологуба таких стихов! А вот это:

Не забудем же дорог,  
В Божий радостный чертог,  
В обители блаженных,  
И пойдем под Божий кров  
Мы в толпе Его рабов  
Терпеливых и смиренных.

Разве страдания России, или близость кончины привели Сологуба к этим стихам — в 1898 году? А вот — о земле:

Вы не умеете целовать мою землю,  
Не умеете слушать Мать Землю сырую,  
Так, как я ей внемлю,  
Так, как я ее целую.  
О, приникну, приникну всем телом  
К святому материнскому телу,  
В озарении святом и белом  
К последнему склонюсь пределу,  
Откуда вышли цветы и травы,  
Откуда вышли вы, сестры и братья.  
Только мои лобзанья чисты и правы,  
Только мои святы объятья.

Не знаю, когда написаны эти стихи, но в 1907 году они были уже напечатаны в «Пламенном круге».

Неверно и то, что будто бы «декадент» Сологуб увидел и полюбил Россию только после революции. В 1906 году вышла книга его стихов, коротко и выразительно озаглавленная: «Родине». Тогда же появились и «Политические сказочки», свидетельницы о том, что «певец порока и мутной мистики» не чуждался реальнейших вопросов своего века.

И в 1911 году он писал:

Прекрасные, чуждые,  
От них в душе туман;  
Но ты, моя Россия,

Прекраснее всех стран.

Нет, не предсмертному просветлению обязан Сологуб своей любовью к России. Это не он не видел Россию, а мы проглядели его любовь к ней.

Обратно: так ли уж он до конца, весь просветлел, так ли бежал от своего прошлого, так ли ясно и просто обратился к Богу?

Адонаи  
Взошел на престолы,  
Адонаи  
Требует себе поклоненья, —  
И наша слабость,  
Земная слабость  
Алтари ему воздвигала.  
Но всеблагий Люцифер с нами,  
Пламенное дыхание свободы,  
Пресвятой свет познания,  
Люцифер с нами,  
И Адонаи,  
Бог темный и мстящий,  
Будет низвергнут  
И развенчан  
Ангелами, Люцифер, твоими,  
Вельзевулом и Молохом.

Это сказано в большевицкой России, за несколько лет до смерти. Правда, через несколько страниц читаем иное:

Знаю знанием последним,  
Что бессильна эта тьма,  
И не верю темным бредням  
Суеверного ума.  
Посягнуть на правду Божью  
То же, что распять Христа,  
Заградить земною ложью  
Непорочные уста.

Или:

В ясном небе — светлый Бог Отец,  
Здесь со мной — Земля, святая Мать...

Но — через несколько страниц снова:

Зачем любить? Земля не стоит  
Любви твоей.  
Пройди над ней, как астероид,  
Пройди скорей.

А пока что — восхваляя пройденный им на земле «лукавый путь веселого порока», Сологуб приглашает: «Греши со мной».

По совести — очень далеко все это от покаяния и исправления. Нет, духовного «прогресса» мы в творчестве Сологуба не найдем, — так же, как и «регресса». Тем-то и примечательна, между прочим, его поэзия, что она — без какой бы то ни было эволюции. Сологуб никогда не отрекался от своего прошлого и не обретал ничего, что не было бы ему известно ранее. Конечно, к тому, что составляет основные мотивы его поэзии, пришел он не сразу. Но именно того, как и когда слагался Сологуб, — мы не знаем. Застаем его сразу уже сложившимся — и таким пребывавшим до конца. Его «сложение» очень сложно; оно как будто внутренне противоречиво, если судить по отдельным стихам. Оно отливает многими переливами, но по существу, по составу, всегда неизменно. Как жизнь Сологуба — без молодости, как поэзия — без ювенилий, так и духовная жизнь — без эволюции.

Сологуб кощунствовал и славословил, проклинал и благословлял, воспевал грех и святость, был жесток и добр, призывал смерть и наслаждался жизнью. Все это и еще многое можно доказать огромным количеством цитат. Одного только не удастся доказать никогда: будто Сологуб от чего-то «шел» и к чему-то «пришел», от кощунств к славословиям или от славословий к кощунствам, от благословений к проклятиям или от проклятий к благословениям. Ничто у него ничем не вытеснялось, противоречия в нем уживались мирно, потому что самая наличность их была частью его мировоззрения. Об этом мировоззрении скажу несколько слов, без критики и без указания на его источники. Дело

не в том, было ли оно оригинально и верно, и какие в нем самом были противоречия. Оно — ключ к пониманию Сологуба и только в этом качестве нас в данную минуту занимает.

«Рожденный не в первый раз и уже не первый завершая круг внешних преобразований, я спокойно и просто открываю свою душу», говорит Сологуб в предисловии к «Пламенному Кругу» — и не устает повторять это в стихах и в прозе.

Свою жизнь, которая кончилась 5 декабря 1927 года, Сологуб почитал не первой и не последней. Она казалась ему звеном в нескончаемой цепи преобразований. Меняются личины, но под ними вечно сохраняется неизменное Я: «Ибо все и во всем — Я, и только Я, и нет иного, и не было и не будет». «Темная земная душа человека пламенеет сладкими и горькими восторгами, истончается и восходит по нескончаемой лестнице совершенств в обители навеки недостижимые и вовеки вожделенные». В процессе этого нескончаемого восхождения Я созидает миры видимые и невидимые: вещи, явления, понятия, добро и зло, Бога и дьявола. И добро, и зло, и Бог, и дьявол — только равноценные формы сладких и горьких восторгов, пламенеющих в душе.

Временная жизнь, цикл переживаний, кончается столь же временной смертью — переходом к новому циклу:

И все, что жило и дышало  
И отцвело,  
В иной стране взойдет сначала,  
Свежо, светло.

То звено цепи, та жизнь, которую изживал на наших глазах поэт Федор Сологуб, содержала для него великое множество переживаний, «восторгов», говоря его словом (и словом Пушкина). То были приливы страстной любви к женщине, красоте, жизни, родине, Богу. И очарования зла, злобы, порока, уродства, дьявола, смерти наполняли его душу тоже восторгами, иного цвета и вкуса («горькими»).

Поскольку, однако, вся эта жизнь была лишь ступенью в «нескончаемой лестнице совершенств», она не могла не казаться Сологубу еще слишком несовершенной, — как были, пожалуй, еще менее совершенны жизни, им раньше пройденные. Но неверно распространенное мнение, будто для Сологуба жизнь абсолютно мерзка, груба, грязна. Она и мерзка, и груба, и пошла — только по отношению к последующим

ступеням, которые еще впереди. Сологуб умеет любить жизнь и восторгаться ею, но лишь до тех пор, пока созерцает ее безотносительно к «лестнице совершенств». По сравнению с утраченной и вечно искомой Лилит, эта жизнь — Ева, «бабища дебелая и румяная». Это — грязная девка Альдонса, ей бесконечно далеко до той прекрасной Дульцинеи, которая мечтается человеку, вечному Адаму и вечному Дон Кихоту. Но и в следующих воплощениях, на будущих ступенях, ему тоже не суждено встретить подлинную Дульцинею, которая живет в «обителях навеки недостижимых и вовеки вождеденных».

Где ж эти обители? Сологуб знает, что это не наша Земля, не Марс, не Венера и никакая из существующих планет. Эта обитель недостижима, она носит условное и заветное имя «земля Ойле». Над той землей светит небывалая звезда Маир, небывалая река ее орошает:

Звезда Маир сияет надо мною,  
Звезда Маир,  
И озарен прекрасною звездою  
Далекий мир.  
Земля Ойле плывет в волнах эфира,  
Земля Ойле,  
И ясен свет мерцающий Маира  
На той земле.  
Река Лигой в стране любви и мира,  
Река Лигой  
Колеблет тихо ясный лик Маира  
Своей волной.  
Бряцанья лир, цветов благоуханье,  
Бряцанье лир  
И песни жен слились в одно дыханье,  
Хваля Маир.

Был ли сам он утешен своей «лестницей»? Я не знаю. Думаю, что самый вопрос об утешительности или неутешительности был для него несуществен. Однажды обретенной им для себя истине он смотрел в глаза мужественно и, во всяком случае, не в его характере было пытаться ее прикрашивать или подслащать. Кажется, «лестница» иногда казалась ему скучновата. Утомительна и сурова — это уж непременно:

Кто смеется? Боги,  
Дети да глупцы.  
Люди, будьте строги,  
Будьте мудрецы,  
Пусть смеются боги,  
Дети да глупцы.

Сам он, впрочем, часто шутил. Но шутки его всегда горьки и почти всегда сводятся к каламбуру, к улыбке слов. «Нож да вилка есть, а нож резалка есть?» «Вот и не поймешь: ты Илия или я Илия?» «Она Селениточка — а на сел ниточка». Смешных положений он почти не знает, улыбок в явлениях жизни не видит. А если и видит, то страшные или злые.

\* \* \*

Несовершенна, слишком несовершенна казалась Сологубу жизнь. «Земное бремя — пространство, время» слишком часто было ему тяжело. И люди его не прельщали: «мелкого беса» видел он за спиной у них. Познакомившись с Передоновым, русское общество пожелало увидеть в нем автопортрет Сологуба. «Это он о себе», намекала критика. В предисловии ко второму изданию своего романа Сологуб ответил спокойно и ясно: «Нет, мое милые современники, это о вас».

О нем было принято говорить: злой. Мне никогда не казалось, однако, что Сологуб деятельно зол. Скорее — он только не любил прощать. После женитьбы на Анастасии Николаевне Чеботаревской, обладавшей, говорят, неуживчивым характером (я сам не имел случая на него жаловаться), Сологубу, кажется, приходилось нередко ссориться с людьми, чтобы, справедливо или нет, вступаться за Анастасию Николаевну.

Впрочем, и сам он долго помнил обиды. Еще в 1906 или 1907 году Андрей Белый напечатал в «Весах» о Сологубе статью, которая показалась ему неприятной. В 1924 году, т. е. лет через семнадцать, Белый явился на публичное чествование Сологуба, устроенное в Петербурге по случаю его шестидесятилетия, и произнес, по обыкновению своему, чрезвычайно экзальтированную, бурно-восторженную речь (передаю со слов одного из присутствовавших). Закончив, Белый осклабился улыбкой, столь же восторженной и неискренней, как была его речь, и принялся изо всех сил жать Сологубу руку. Сологуб гадливо сморщился и произнес с

расстановкой, сквозь зубы:

— Вы делаете мне больно.

И больше ни слова. Эффект восторженной речи был сорван. Сологуб отомстил. [\[13\]](#)

В общем, мне кажется, люди утомляли Сологуба. Он часто старался не видеть их и не слышать:

Быть с людьми — как бремя!  
О, зачем же надо с ними жить,  
Отчего нельзя все время  
Чары деять, тихо ворожить?

Для меня эта нота всегда очень явственно звучала в словах Сологуба, в лениво-досадливых жестах, в полудремоте его, в молчании, в закрывании глаз, во всей повадке. Когда я жил в Петербурге, мы встречались сравнительно много, бывали друг у друга, но в общем, несмотря на восхитительный ум Сологуба, на прекрасные стихи, которые он читал при встречах, на его любезное, впрочем — суховатое обращение, я как-то старался поменьше попадаться ему на глаза. Я видел, что люди Сологубу, в конечном счете, решительно не нужны, и я в том числе. Уверен, что он носил в себе очень большой запас любви, но не в силах был обратить ее на людей.

На Ойле, далекой и прекрасной,  
Вся мечта и вся любовь моя...

На земле знавал он только несовершенный ответ любви ойлейской.

\* \* \*

Впрочем, двух людей, двух женщин, он любил — и обеих утратил. Первая была его сестра, Ольга Кузьминишна, тихая, немолодая девушка, болезненная, чуть слышная, ходившая всегда в черном. Она умерла от чахотки, кажется, в 1907 году. Следы этой любви есть во многих стихах Сологуба. О ней он не забывал. В 1920 году писал:

...Рассказать, чем сердце жило,  
Чем болело и горело,  
И кого оно любило,  
И чего оно хотело.  
Так мечтаешь хоть недолго  
О далекой, об отцветшей.  
Имя сладостное Волга  
Сходно с именем ушедшей.

Вторая была Анастасия Николаевна Чеботаревская, на которой он женился вскоре после смерти сестры. Годы военного коммунизма Сологубы провели частью в Костроме, частью в Петербурге. Мечтой их было уехать из советской России, где господствовали, по его выражению, «вчеловеченные звери». Сологуб писал:

Снова саваны надели  
Рощи, нивы и луга.  
Надоели, надоели  
Эти белые снега,  
Эта мертвая пустыня,  
Эта дремлющая тишь!  
Отчего ж, душа-рабыня,  
Ты на волю не летишь,  
К буйным волнам океана,  
К шумным стогнам городов,  
На размах аэроплана,  
В громыханье поездов,  
Или, жажду жизни здешней  
Горьким ядом утоля,  
В край невинный, вечно-вешний,  
В Элизийския поля?

Анастасия Николаевна приходилась родственницей Луначарскому (кажется, двоюродной сестрой). Весной 1921 г. Луначарский подал в Политбюро заявление о необходимости выпустить за границу больных писателей: Сологуба и Блока. Ходатайство было поддержано Горьким. Политбюро почему-то решило Сологуба выпустить, а Блока задержать.



Узнав об этом, Луначарский отправил в Политбюро чуть ли не истерическое письмо, в котором ни с того ни с сего потопил Сологуба. Аргументация его была приблизительно такова: товарищи, что ж вы делаете? Я просил за Блока и Сологуба, а вы выпускаете одного Сологуба, меж тем, как Блок — поэт революции, наша гордость, о нем даже была статья в Times-е, а Сологуб — ненавистник пролетариата, автор контрреволюционных памфлетов — и т. д.

Копия этого письма, датированного, кажется, 22 июня, была прислана Горькому, который его мне и показал тогда же. Политбюро вывернуло свое решение наизнанку: Блоку дало заграничный паспорт, которым он уже не успел воспользоваться, а Сологуба задержало. Осенью, после многих стараний Горького, Сологубу все-таки дали заграничный паспорт, потом опять отняли, потом опять дали. Вся эта история поколебала душевное равновесие Анастасии Николаевны: когда все уже было улажено и чуть ли не назначен день отъезда, в припадке меланхолии она бросилась в Неву с Тучкова моста.<sup>[14]</sup>

Тело ее было извлечено из воды только через семь с половиною месяцев. Все это время Сологуб еще надеялся, что, может быть, женщина, которая бросилась в Неву, была не Анастасия Николаевна. Допускал, что она где-нибудь скрывается. К обеду ставил на стол лишний прибор — на случай, если она вернется. Из этого сделали пошлый рассказ о том, как Сологуб «ужинает в незримом присутствии покойницы». В ту пору я видел его два раза: вскоре после исчезновения Анастасии Николаевны — у П. Е. Щеголева, где он за весь вечер не проронил ни слова, и весной 1922 г. — у меня. Он пришел неожиданно, сел, прочитал несколько стихотворений и ушел так же внезапно, точно и не заметив моего присутствия.

Убедившись в гибели жены, он уже не захотел уезжать. Его почти не печатали (в последние три года — вовсе нигде), но он много писал. Не в первый раз мечтой побеждал действительность, духовно торжествовал над ней. Не даром, упорствуя, не сдаваясь, в холоде и голоде, весной 1921 года, в двенадцать дней, написал он веселый, задорный, в той обстановке как будто бы даже немыслимый цикл стихов: двадцать семь пьес в стиле французских бержерет. Стиснув зубы, упрямый мечтатель, уверенный, твердый, неуклонный мастер, он во дни «пролетарского искусства» выводил с усмешкой и над врагами, и над собой, и над «злою жизнью»:

Тирсис под сенью ив  
Мечтает о Нанетте,  
И голову склонив,

Выводит на мюзетте:  
Любовью я, — тра, та, там, та, — томлюсь,  
К могиле я, — тра, та, там, та, — клонюсь.  
И эхо меж кустов,  
Внимая воплям горя,  
Не изменяет слов,  
Напевам томным вторя:  
Любовью я, — тра, та, там, та, — томлюсь,  
К могиле я, — тра, та, там, та, — клонюсь...

*Париж, январь 1928 г.*

## Есенин

Летом 1925 года прочел я книжку Есенина под непривычно простым заглавием: «Стихи. 1920–24». Тут были собраны пьесы новые — и не совсем новые, т. е. уже входившие в его сборники. Видимо, автор хотел объединить стихи того, можно сказать, покаянного цикла, который взволновал и растрогал даже тех, кто ранее не любил, а то и просто не замечал есенинской поэзии.

Эта небольшая книжечка мне понравилась. Захотелось о ней написать. Я и начал было, но вскоре увидел, что в этом сборнике — итог целой жизни, и что невозможно о нем говорить вне связи со всем предыдущим путем Есенина. Тогда я перечел «Собрание стихов и поэм» его — первый и единственный том, изданный Гржебиным. А когда перечел, то понял: **сейчас** говорить о Есенине невозможно. Книжка, меня (и многих других) взволновавшая, есть свидетельство острого и болезненного перелома, тяжелой и мучительной драмы в творчестве Есенина. Стало для меня несомненно, что настроения, отраженные в этом сборничке, переходные; они нарастали давно, но теперь достигли такой остроты, что вряд ли могут быть устойчивы, длительны; мне показалось, что так ли, иначе ли, — судьба Есенина вскоре должна решиться, и в зависимости от этого решения новые его стихи станут на свое место, приобретут тот или иной смысл. В ту минуту писать о них — значило либо не договаривать, либо предсказывать. Предсказывать я не отважился. Решил ждать, что будет. К несчастью, ждать оказалось недолго: в ночь с 27 на 28 декабря, в Петербурге, в гостинице. «Англетерр», «Сергей Есенин обернул вокруг своей шеи два раза веревку от чемодана, вывезенного из Европы, выбил из под ног табуретку и повис лицом к синей ночи, смотря на Исаакиевскую площадь».

\* \* \*

Он родился 21 сентября 1895 года, в крестьянской семье, в Козминской волости, Рязанской губернии и уезда. С двух лет, по бедности и многочисленности семейства, был отдан на воспитание деду с материнской стороны, мужику более зажиточному. Стихи стал писать лет девяти, но более или менее сознательное сочинительство началось с шестнадцатилетнего возраста, когда Есенин окончил закрытую церковно-

учительскую школу.

В своей автобиографии он рассказывает: «18 лет я был удивлен, разослав свои стихи по редакциям, что их не печатают, и неожиданно грянул в Петербург. Там меня приняли весьма радушно. Первый, кого я увидел, был Блок, второй Городецкий... Городецкий меня свел с Клюевым, о котором я раньше не слыхал ни слова».

«Грянул» он в Петербург простоватым парнем. Впоследствии сам рассказывал, что, увидев Блока, вспотел от волнения. Если вчитаемся в его первый сборник «Радуница», то увидим, что никаких ясно выраженных идей, отвлеченностей, схем он из своей Козминской волости в Петербург не привез. Явился с запасом известных наблюдений и чувств. А «идеи», если и были, то они им переживались и ощущались, но не осознавались.

В основе ранней есенинской поэзии лежит любовь к родной земле. Именно к родной крестьянской земле, а не к России с ее городами, заводами, фабриками, с университетами и театрами, с политической и общественной жизнью. России в том смысле, как мы ее понимаем, он в сущности не знал. Для него родина — свои деревня да те поля и леса, в которых она затерялась. В лучшем случае — ряд таких деревень: избяная Русь, родная сторонушка, не страна: единство социальное и бытовое, а не государственное и даже не географическое. Какие-нибудь окраины для Есенина, разумеется, не Россия. Россия — Русь, Русь — деревня.

Для обитателя этой Руси весь жизненный подвиг — крестьянский труд. Крестьянин забит, нищ, гол. Так же убога его земля:

Слушают ракиты  
Посвист ветряной...  
Край ты мой забытый,  
Край ты мой родной.

Такой же нищий, сливаясь с нею, ходит по этой земле мужицкий Бог:

Шел Господь пытаться людей в любви,  
Выходил Он нищим на кулижку.  
Старый дед на пне сухом, в дуброве,  
Жамкал деснами зачерствелую пышку.  
Увидал дед нищего дорогой,  
На тропинке, с клюшкою железной,  
И подумал: — «Вишь, какой убогой. —

Знать, от голода качается, болезный».  
Подошел Господь, скрывая скорбь и муку:  
Видно, мол, сердца их не разбудишь...  
И сказал старик, протягивая руку:  
— «На, пожуй... маленько крепче будешь».

Можно по стихам Есенина восстановить его ранние мужицко-религиозные тенденции. Выйдет, что миссия крестьянина божественна, ибо крестьянин как бы сопричастен творчеству Божью. Бог — отец. Земля — мать. Сын — урожай. Истоки есенинского культа, как видим, древние. От этих истоков до христианства еще ряд этапов. Пройдены ли они у Есенина? Вряд ли. Начинаящей Есенин — полуязычник. Это отнюдь не мешает его вере быть одетою в традиционные образы христианского мира. Его религиозные переживания выражены в готовой христианской терминологии. Только это и можно сказать с достоверностью. Говорить о **христианстве** Есенина было бы рискованно. У него христианство — не содержание, а форма, и употребление христианской терминологии приближается к литературному приему. Наряду с образами, заимствованными у христианства, Есенин раскрывает ту же мужицкую веру в формах вполне языческих:

Полюбил я мир и вечность,  
Как родительский очаг.  
Все в них благостно и свято,  
Все тревожно и светло.  
Плещет алый мак заката  
На озерное стекло.  
И невольно в море хлеба  
Рвется образ, с языка:  
Отелившееся небо  
Лижет красного телка.

Вот оно: небо — корова; хлеб, урожай — телок; небо родит урожай, правда высшая воплощается в урожае. Но Есенин сам покамест относится к этой формуле всего лишь, как к образу, как к поэтической метафоре, нечаянно сорвавшейся с языка. Он еще сам не знает, что тут заключена его основная религиозная и общественная концепция. Но впоследствии мы

увидим, как и под какими влияниями этот образ у него развился и что стал значить.

\* \* \*

В конце 1912 года, в Москве, стал ко мне хаживать некий Х. Называл он себя крестьянским поэтом; был красив, чернобров, статен; старательно окал, любил побеседовать о разных там яровых и озимых. Держался он добрым молодцем, Бовой-королевичем. Уверял, разумеется, что нигде не учился. От С. В. Киссина (Муни), покойного моего друга, я знал, что Х. в одно время с ним был не то студентом, не то вольнослушателем на юридическом факультете. Стихи он писал недурно, гладко, но в том псевдорусском стиле, до которого я не охотник.

В его разговоре была смесь самоуничижения и наглости. Тогда это меня коробило, позже я насмотрелся на это вдоволь у пролетарских поэтов. Х. не ходил, не смотрел, а все как-то похаживал да поглядывал, то смиренничая, то наливаясь злостью. Не смялся, а ухмылялся. Бывало, придет — на все лады извиняется: да можно ли? да не помешал ли? да, пожалуй, не ко двору пришелся? да не надоел ли? да не пора ли уж уходить? А сам нет-нет да шпилечку и отпустит. Читая свои стихи, почтительнейше просил указать, ежели что не так: поучить, наставить. Потому что — нам где же, мы люди темные, только вот, разумеется, которые ученые, — они хоть и все превзошли, а ни к чему они вовсе, да... Любил побеседовать о политике. Да, помещикам обязательно ужо — красного петуха (неизвестно, что: пустят или пустим). Чтобы, значит, был царь — и мужик, больше никого. Капиталистов под жабры, потому что жида (а Вы сами, простите, не из евреев?) и хотят царя повалить, а сами всей Русью крещеною завладеть. Интеллигенции — земной поклон за то, что нас, неучей, просвещает. Только тоже сесть на шею себе не дадим: вот, как справимся с богачами, так и ее по шапке. Фабричных — тоже: это все хулиганы, сволочь, бездельники. Русь — она вся хрестьянская, да. Мужик — что? Тьфу, последнее дело, одно слово смерд. А только ему полагается первое место, потому что он — вроде как соль земли...

А потом, помолчав:

— Да. А что она, соль? Полкопейки фунт.

Муни однажды о нем сказал:

— Бова твой подобен солнцу: заходит налево — взойдет направо. И еще хорошо, если не вынырнет просто в охранке.

Меж тем, Х. изнывал от зависти: не давали ему покою лавры другого мужика, Николая Ключева, который явился незадолго до того и уже выпустил две книги: одну — с предисловием Брюсова, другую — со вступительной статьей В. Свенцицкого, который без обиняков объявил Ключева **пророком**.

Действительно, гораздо более даровитый, чем Х, Ключев поехал уже в Петербург и успел там прогреметь: Городецкий о нем звонил во все колокола. Х, понятно, не устоял: тоже кинулся в Петербург. Там у него не особенно что-то удачно вышло: в пророки он не попал и вскоре вернулся, — однако, не без трофея: с фотографической карточкой, на которой был снят с Городецким и Ключевым: Все трое — в русских рубахах, в смазных сапогах, с балалайками. Об этой поре, в одном из своих очерков петербургской литературной жизни, хорошо рассказал Г. Иванов:

«Приехав в Петербург, Ключев попал тотчас же под влияние Городецкого и твердо усвоил приемы мужичка-травести.

— Ну, Николай Алексеевич, как устроились вы в Петербурге?

— Слава тебе Господи, не оставляет Заступница нас, грешных. Сыскал клетушку, — много ли нам надо? Заходи, сынок, осчастливь. На Морской за углом живу.

Клетушка была номером Отель де Франс с цельным ковром и широкой турецкой тахтой. Ключев сидел на тахте, при воротничке и галстук, и читал Гейне в подлиннике.

— Маракую малость по-басурманскому, — заметил он мой удивленный взгляд. — Маракую малость. Только не лежит душа. Наши соловьи голосистей, ох, голосистей. Да, что ж это я, — взволновался он, — дорогого гостя как принимаю. Садись, сынок, садись, голубь. Чем угощать прикажешь? Чаю не пью, табаку не курю, пряника медового не припас. А то — он подмигнул — если не торопишься, может пополудничаем вместе? Есть тут один трактирчик. Хозяин хороший человек, хоть и француз. Тут, за углом. Альбертом зовут.

Я не торопился.

— Ну, вот и ладно, ну, вот, и чудесно, — сейчас обряжусь...

— Зачем же вам переодеваться?

— Что ты, что ты — разве можно? Ребята засмеют. Обожди минутку — я духом.

Из-за ширмы он вышел в поддевке, смазных сапогах и малиновой рубашке:

— Ну, вот, — так то лучше!

— Да, ведь, в ресторан в таком виде, как раз, не пустят.

— В общую и не просимся. Куда нам, мужичкам, промеж господ? Знай, сверчок, свой шесток. А мы не в общем, мы в клетушку-комнатушку, отдельный то есть. Туда и нам можно».

Вот именно в этих клетушках-комнатушках французских ресторанов и вырабатывался тогда городецко-клюевский style russe, не то православие, не то хлыстовство, не то революция, не то черносотенство. Для Городецкаго, разумеется, все это была очередная безответственная шумиха и болтовня: он уже побывал к тому времени и символистом, и мистическим анархистом, и мистическим реалистом, и акмеистом. Он любил маскарады и вывески. Переодеться мужичком было ему интересно и рекламнее. Но Клюев, хоть и «маракал по-басурманскому», был все же человек деревенский. Он, разумеется, знал, что таких мужичков, каким рядил его Городецкий, в действительности не бывает, — но барину не перечил: пущай забавляется. А сам между тем, не то чтобы вовсе тишком да молчком, а эдак полусловцами да песенками, поддакивая да подмигивая и вправо и влево, и черносотенцу Городецкому, и эсерам, и членам религиозно-философского общества, и хлыстовским каким-то юношам, выжидал. Чего?

\* \* \*

То, что мой Х. выбалтывал несуразно, отрывочно и вразброд, можно привести в некоторую систему. Получится, приблизительно, следующее:

Россия — страна мужицкая. То, что в ней не от мужика и не для мужика, — накипь, которую надо соскоблить. Мужик — единственный носитель истинно русской религиозной и общественной идеи. Сейчас он подавлен и эксплуатируем людьми всех иных классов и профессий. Помещик, фабрикант, чиновник, интеллигент, рабочий, священник — все это разновидности паразитов, сосущих мужицкую кровь. И сами они, и все, что идет от них, должно быть сметено, а потом мужик построит новую Русь и даст ей новую правду и новое право, ибо он есть единственный источник того и другого. Законы, которые высижены в Петербурге чиновниками, он отменит, ради своих законов, неписаных. И веру, которой учат попы, обученные в семинариях да академиях, мужик исправит, и вместо церкви синодской построит новую — «земляную, лесную, зеленую». Вот тогда-то и превратится он из забитого Ивана-Дурака в Ивана-Царевича.

Такова программа. Какова же тактика? Тактика — выжидательная.



Мужик окружен врагами: все на него и все сильнее его. Но если случится у врагов разлад и дойдет у них до когтей, вот тогда мужик разогнет спину и скажет свое последнее, решающее слово. Следовательно, пока что, ему не по дороге ни с кем. Приходится еще ждать: кто первый пустит красного петуха, к тому и пристать. А с какого конца загорится, кто именно пустит, — это пока все равно: хулиган — ли мастеровой пойдет на царя, царь — ли кликнет опричнину унимать беспокойную земщину — безразлично. Снизу ли, сверху ли, справа ли, слева ли, — все солома. Только бы полыхнуло.

Такова была клюевщина к 1913 году, когда Есенин появился в Петербурге. С Клюевым он тотчас подружился и подпал под его влияние. Есенин был молод, во многом неискушен и не то, чтобы простоват, — а была у него душа нараспашку. То, что бродило в нем смутно, несознанно, в клюевщине было уже гораздо более разработано. Есенин пришел в Петербург, зная одно: плохо мужику и плохо мужицкому Богу. В Петербурге его просветили: ежели плохо, так надобно, чтобы стало лучше. И будет лучше: дай срок — подыметя деревенская Русь. И в стихах Есенина зазвучал новый мотив:

О, Русь, взмахни крылами,  
Поставь иную крепь!

.....

Довольно гнить и ноесть,  
И славить взлетом гнусь —  
Уж смыла, стерла деготь  
Воспрянувшая Русь.

Самого себя он уже видит одним из пророков и песнопевцев этой Руси — в ряду с Алексеем Кольцовым, «смирненным Миколоем» Клюевым и беллетристом Чапыгиным:

Сокройся, сгинь ты, племя  
Смердящих снов и дум!  
На каменное темя  
Несем мы звездный шум.

Грядущее уничтожение «смердящих снов», установление «иной

крепи» видится Есенину еще смутно. «Звездный шум», который несут мужицкие пророки, можно тоже понять по разному. Но Есенин уверен в одном: что

... не избежать бури,  
Не миновать утрат,  
Чтоб прозвенеть в лазури  
Кольцом незримых врат.

Освобожденная Русь — град лазурный и невидимый. Это нечто неопределенно светлое. Конкретных черт ее не дает Есенин. Но знает конкретно, что путь к ней лежит через «бурю», в которой развернется мужицкая удаль. Иначе сказать — через революцию. Появление этого сознания важнейший этап в душевной биографии Есенина.

Семнадцатый год оглушил нас. Мы как будто забыли, что революция не всегда идет снизу, а приходит и с самого верху. Ключевщина это хорошо знала. От связей с нижней она не зарекалась, но — это нужно заметить — в те годы скорее ждала революции сверху. Через год после появления Есенина в Петербурге началась война. И пока она длилась, Городецкий и Ключев явно ориентировались направо. Книга неистово патриотических стихов Городецкого «Четырнадцатый год» у многих еще в памяти. Там не только Царь, но даже Дворец и даже Площадь печатались с заглавных букв. За эту книгу Городецкий получил высочайший подарок: золотое перо. Он возил и Ключева в Царское Село, туда, где такой же мужичек, Григорий Распутин, норовил пустить красного петуха сверху. От Ключевщины несло распутинщиной.

Еще не оперившийся Есенин в те годы был послушным спутником Ключева и Городецкого. Вместе с ними разгуливал он сусальным мужичком, носил щегольские сафьянные сапожки, голубую шелковую рубаху, подпоясанную золотым шнурком; на шнуре, висел гребешок для расчесывания молодецких кудрей. В таком виде однажды я встретил Ключева и Есенина в трамвае, в Москве, когда приезжали они читать стихи в «Обществе свободной эстетики». Правда, верное чутье подсказало Есенину, что в перечень крестьянских пророков было бы смешно вставить барина Городецкого, но все-таки от компании он не отставал. От ориентации на Царское Село — тоже.

Это последнее обстоятельство закреплено в любопытном документе. Дело в том, что помимо автобиографии, которую я цитировал выше и которая писана летом 1922 года в Берлине, Есенин, уже по возвращении в советскую Россию, составил вторую. После смерти Есенина она была напечатана в журнале «Красная Нива».

По-видимому, эта вторая, московская автобиография написана неспроста. Мне неизвестно, какие именно обстоятельства и воздействия вызвали ее к жизни и куда она была представлена, но в ней есть важное отличие от берлинской: на сей раз Есенин в особом, дополнительном отрывке рассказывает о том, про что раньше он совершенно молчал: именно — о своих сношениях с высшими сферами и вообще о периоде 1915–1917 гг. Московская биография написана в том же непринужденном тоне, как и берлинская, но в ней чувствуется постоянная оглядка на советское начальство. Это сказалось даже в мелочах: например, Есенин дату своего рождения приводит уже не по старому стилю, а по новому: 3 октября вместо 21 сентября; церковно-учительскую школу, в которой он обучался, теперь он предусмотрительно именуется учительской просто, — и т. п. Что же касается неприятной темы о сношениях с Царским Селом, — то вряд ли мы ошибемся, если скажем, что это и есть главный пункт, ради которого писана вторая автобиография. Об этих сношениях ходили слухи давно. По-видимому, для Есенина настал, наконец, момент отчитаться перед советскими властями по этому делу и положить предел слухам. (Возможно, что это было как раз тогда, когда разыгралась история с антисоветскими дебошами Есенина). Так ли, иначе ли, — Есенину на сей раз пришлось быть более откровенным. И хотя он отнюдь не был откровенен до конца, все же мы имеем признание довольно существенное.

«В 1916 году был призван на военную службу», — пишет Есенин. «При некотором покровительстве полковника Ломана, адъютанта императрицы, был представлен ко многим льготам. Жил в Царском, недалеко от Разумника-Иванова. По просьбе Ломана, однажды читал стихи императрице. Она после прочтения моих стихов сказала, что стихи мои красивы, но очень грустны. Я ей ответил, что такова вся Россия. Ссылался на бедность, климат и прочее».

Тут, несомненно, многое сказано — и многое затушевано. Начать с того, что покровительство адъютанта императрицы ни простому деревенскому парню, ни русскому поэту получить было не так легко. Не с

улицы же Есенин пришел к Ломану. Несомненно, были какие то связующие звенья, а главное обстоятельства, в силу которых Ломан счел нужным принять участие в судьбе Есенина. Неправдоподобно и то, что стихи читались императрице просто «по просьбе Ломана». По письмам императрицы к государю мы знаем, в каком болезненно-нервном состоянии находилась она в 1916 году и как старалась оттолкнуть от себя все, на чем не было санкций «Друга» или его кругов. Ей было во всяком случае не до стихов, тем более — никому неведомого Есенина. В те дни и вообще-то получить у нее аудиенцию было трудно, — а тут вдруг выходит, что Есенина она сама приглашает. В действительности, конечно, было иначе: это чтение устроили Есенину лица, с которыми он был так или иначе связан, и которые были близки к императрице... Есенин довольно наивным приемом пытается отвести мысль читателя от этих царско-сельских кружков: он, как-то вскользь, бросает фразу о том, что жил в Царском «недалеко от Разумника-Иванова». Жил-то недалеко, но общался далеко не с одним Разумником-Ивановым.

Далее Есенин пишет: «Революция застала меня на фронте, в одном из дисциплинарных батальонов, куда угодил за то, что отказался написать стихи в честь царя». Это уж решительно ни на что не похоже. Во-первых, вряд ли можно было угодить в дисциплинарный батальон за отказ написать стихи в честь царя: к счастью или к несчастью, писанию или неписанию стихов в честь Николая II не придавали такого значения. Во-вторых же (и это главное) трудно понять, почему Есенин считал невозможным писать стихи в честь царя, но не только читал стихи царице, а и посвящал их ей. Вот об этом последнем факте он тоже умолчал. Между тем, летом 1918 г. один московский издатель, библиофил и любитель книжных редкостей, предлагал мне купить у него или выменять раздобытый окольными путями корректурный оттиск второй есенинской книги «Голубень». Книга эта вышла уже после февральской революции, но в урезанном виде. Набиралась же она еще в 1916 году, и полная корректура содержала целый цикл стихов, посвященных императрице. Не знаю, был ли в конце 1916 — в начале 1917 года Есенин на фронте, но несомненно, что получить разрешение на посвящение стихов императрице было весьма трудно — и уж во всяком случае, разрешение не могло быть дано солдату дисциплинарного батальона.

Один из советских биографов Есенина, некто Георгий Устинов, по-видимому хорошо знавший Есенина, историю о дисциплинарном батальоне рассказывает, хоть и очень темно и, видимо, тоже не слишком правдиво, но все же как будто ближе к истине. Отметив, что литературное рождение

Есенина было «в грозе и буре патриотизма», и что оно пришлось «кстати» для **«общества распутинской складки»**, Устинов рассказывает, как во время войны Есенин по заказу каких-то кутящих офицеров принужден был писать какие-то стихи.

О том, что дело шло о стихах в честь государя, Устинов умалчивает, а затем прибавляет, что когда, «юноша-поэт взбунтовался, ему была указана прямая дорога в дисциплинарный батальон». Это значит, конечно, что за какой-то «бунт», может быть под пьяную руку, офицеры поугубили Есенина дисциплинарным батальоном, которого он, по свидетельству Устинова, «избежал». Надо думать, что впоследствии, будучи вынужден поведать большевикам о своих придворных чтениях, Есенин припомнил эту угрозу и, чтобы уравновесить впечатление, выдал ее за действительную отправку в дисциплинарный батальон. Таким образом, он выставил себя как бы даже «революционером».

Излагая дальнейшую жизнь Есенина, Устинов рассказывает, что при Временном Правительстве Есенин сблизился с эсерами, а после октября «повернулся лицом к большевицким Советам». В действительности таким перевертнем Есенин не был. Уже пишучи патриотические стихи и читая их в Царском, он в той или иной мере был близок к эсерам. Не даром, уверяя, будто отказался воспеть императора, он говорит, что «искал поддержки в Иванове-Разумнике». Но дело все в том, что Есенин не двурушничал, не страховал свою личную карьеру и там, и здесь, — а вполне последовательно держался клюевской тактики. Ему просто было безразлично, откуда пойдет революция, сверху или снизу. Он знал, что в последнюю минуту примкнет к тем, кто первый подожжет **Россию**; ждал, что из этого пламени фениксом, жаром-птицею, взлетит мужицкая **Русь**. После февраля он очутился в рядах эсеров. После раскола эсеров на правых и левых — в рядах левых там, где «крайнее», с теми, у кого в руках, как ему казалось, больше горючего материала. Программные различия были ему неважны, да, вероятно, и мало известны. Революция была для него лишь прологом гораздо более значительных событий. Эсеры (безразлично, правые или левые), как позже большевики, были для него теми, кто расчищает путь мужику и кого этот мужик в свое время одинаково сметет прочь. Уже в 1918 году, был он на каком-то большевицком собрании и приветливо улыбался решительно всем — кто бы и что бы ни говорил. Потом желтоволосый мальчик сам возымел желание сказать слово... и сказал:

— Революция... это ворон... ворон, которого мы выпускаем из своей головы... на разведку... Будущее больше...

В автобиографии 1922 года он написал: «В Р.К.П. я никогда не состоял,

потому что чувствую себя гораздо левее».

«Левее» значило для него — дальше, позже, **за** большевиками, **над** большевиками. Чем «левее» — тем лучше.

\* \* \*

Если припомним круг представлений, с которыми некогда явился Есенин в Петербург (я уже говорил, что они им скорее ощущались, чем сознавались), то увидим, что после революции они у него развивались очень последовательно, хотя, быть может, и ничего не выиграли в ясности.

Небо — корова. Урожай — телок. Правда земная — воплощение небесной. Земное так же свято, как небесное, но лишь постольку, поскольку оно есть чистое, беспримесное продолжение изначального космогонического момента. Земля должна оставаться лишь тем, чем она создана: произрасталищем. Привнесение чего бы то ни было сверх этого — искажение чистого лика земли, помеха непрерывно совершающемуся воплощению неба на земле. Земля — мать, родящая от неба. Единственное религиозно правое делание — помощь при этих родах, труд возле земли, земледелание, земледелие.

Сам Есенин заметил, что образ телка — урожая у него «сорвался с языка». Вернувшись к этому образу уже после революции, Есенин внес существенную поправку. Ведь телок рождается от коровы, как урожай от земли. Следовательно, если ставить знак равенства между урожаем и телком, то придется его поставить и между землей и коровой. Получится новый образ: земля — корова. Образ древнейший, не Есениным созданный. Но Есенин как-то сам, собственным путем на него набрел, а набредя — почувствовал, что это в высшей степени отвечает самым основам его мироощущения. Естественно, что при этом первоначальная формула, небо корова, должна была не то, чтобы вовсе отпасть, но временно видоизмениться. (Впоследствии мы узнаем, что так и случилось: Есенин к ней вернулся).

**Россия** для Есенина — **Русь**, та плодородящая земля, родина, на которой работали его прадеды и сейчас работают его дед и отец. Отсюда простейшее отождествление: если земля — корова, то все признаки этого понятия могут быть перенесены на понятие родина, и любовь к родине олицетворится в любви к корове. Этой корове и несет Есенин благую весть о революции, как о предшественнице того, что уже «больше революции»:

О, родина, счастливый  
И неисходный час!  
Нет лучше, нет красивей  
Твоих коровьих глаз.

Процесс революции представляется Есенину, как смешение неба с землею, совершаемое в грозе и буре:

Плечами трясем мы небо,  
Руками зыбим мрак,  
И в тощий колос хлеба  
Вдыхаем звездный знак.  
О Русь, о степь и ветры,  
И ты, мой отчий дом!  
На золотой повети  
Гнездится вешний гром.  
Овсом мы кормим бурю,  
Молитвой поим дол,  
И пашню голубую  
Нам пашет разум-вол.

Грядущее, то, что «больше революции», — есть уже рай на земле, и в этом раю — мужик:

Осанна в вышних!  
Холмы поют про рай.  
И в том раю я вижу  
Тебя, мой отчий край.  
Под Маврикийским дубом  
Сидит мой рыжий дед,  
И светит его шуба  
Горохом частых звезд.  
И та кошачья шапка,  
Что в праздник он носил,  
Глядит, как месяц, зябко  
На снег родных могил.

Все, что в 1917–1918 гг. левыми эсерами и большевиками выдавалось за «контрреволюцию», было, разумеется, враждебно Есенину. Временное Правительство и Корнилов, Учредительное Собрание и монархисты, меньшевики и банкиры, правые эсеры и помещики, немцы и французы, — все это одинаково была «гидра», готовая поглотить загоравшуюся «Звезду Востока». Возглашая, что

В мужичьих яслях  
Родилось пламя  
К миру всего мира, —

Есенин искренно верил, например, что именно Англия особенно злоумышляет против:

Сгинь ты, английское юдо,  
Расплещися по морям!  
Наше северное чудо  
Не постичь твоим сынам!

Ему казалось, что Россия страдает, потому темные силы на нее ополчились:

Господи, я верую!  
Но введи в Свой рай  
Дождевыми стрелами  
Мой пронзенный край.

Так начинается поэма «Пришествие». Она примечательна в творчестве Есенина. В дальнейших строках Русь ему представляется тем местом, откуда приходить в мир последняя истина:

За горой нехоженой,  
В синеве долин,  
Снова мне, о Боже мой,  
Предстает твой сын.  
По тебе томлюся я  
Из мужичьих мест;



Из прозревшей России  
Он несет свой крест.

Дале, силы и события, которые, как сдается Есенину, мешают пришествию истины, даны им в образе воинов, бичующих Христа, отрекающегося Симона Петра, предающего Иуды и, наконец, Голгофы. Казалось бы, дело идет с несомненностью о Христе. В действительности это не так. Если мы внимательно перечтем революционные поэмы Есенина, предшествующие «Инонии», то увидим, что все образы христианского мира здесь даны в измененных (или искаженных) видах, в том числе образ самого Христа. Это опять, как и в ранних стихах, происходит оттого, что Есенин пользуется евангельскими именами, произвольно вкладывая в них свое содержание. В действительности, в полном согласии с основными началами есенинской веры, мы можем расшифровать его псевдохристианскую терминологию, и получим следующее:

Приснодева = земле = корове = Руси мужицкой.

Бог — отец = небу = истине.

Христос = сыну неба и земли = урожаю = телку = воплощению небесной истины = Руси грядущей.

Для есенинского Христа распятие есть лишь случайный трагический эпизод, которому лучше бы не быть и которого **могло бы** не быть, если бы не «контрреволюция». Примечательно, что в «Пришествии» подробно описаны бичевание, отречение Петра и предательство Иуды, а самое распятие, то есть хоть и временное, но полное торжество врагов, — только робко и вскользь упомянуто: это именно потому, что контрреволюция, с которой, так сказать, как с натуры, Есенин писал муки **своего** Христа — в действительности ни секунды не торжествовала. Так что, в сущности, **есенинский** Христос и не распят: распятие упомянуто ради полноты аналогий, для художественной цельности, но — вопреки исторической и религиозной правде (имею в виду религию Есенина).

Потому-то «Пришествие» и кончается как будто парадоксальным, но для Есенина вполне последовательным образом:

Холмы поют о чуде,  
Про рай звенит песок.  
О, верю, верю — будет  
Телиться твой восток!  
В моря овса и гречи

Он кинет нам телка...  
Но долог срок до встречи,  
А гибель так близка!

Т. е. верю, что постреволюция будет, но боюсь контрреволюции.  
Потому и понятно есенинское восклицание в начале следующей поэмы:

Облаки лают,  
Ревет златозубая высь...  
Пою и взываю:  
Господи, отелись!

Последний стих в свое время вызвал взрыв недоумения и негодования. И то, и другое напрасно. Нечего было недоумевать, ибо Есенин даже не вычурно, а с величайшей простотой, с точностью, доступной лишь крупным художникам, высказал свою главную мысль. Негодовать было тоже напрасно, или, по крайней мере, поздно, потому что Есенин обращался к своему языческому богу — с верою и благочестием. Он говорил: «Боже мой, воплоти свою правду в Руси грядущей». А что он узурпировал образы и имена веры Христовой — этим надо было возмущаться гораздо раньше, при первом появлении не Есенина, а Клюева.

Несомненно, что и телок есенинский, как ни неприятно это высказать, есть пародия Агнца. Агнец — закланный, телок же благополучен, рыж, сыт и обещает благополучие и сытость:

От утра и от полудня  
Под поющий в небе гром,  
Словно ведра, наши будни  
Он наполнит молоком.  
И от вечера до ночи,  
Незакатный славя край,  
Будет звёздами пророчить  
Среброзлачный урожай.

Таково будет царство телка. И оно будет — новая Русь,

преображенная, иная: не Русь, а **Инония**.

\* \* \*

Прямых проявлений вражды к христианству в поэзии Есенина до «Инонии» не было, — потому что и не было к тому действительных оснований. По-видимому, Есенин даже считал себя христианином. Самое для него ценное, вера в высшее назначение мужицкой Руси, и в самом деле могла ужиться не только с его полуязычеством, но и с христианством подлинным. Если и сознавал Есенин кое-какие свои расхождения, то только с христианством историческим. При этом он, разумеется, был уверен, что заблуждения исторического христианства ему хорошо известны и что он, да Клюев, да еще кое-кто очень даже способны вывести это христианство на должный путь. Что для этого надо побольше знать и в истории, и в христианстве, — с этим он не считался, как вообще не любят считаться с такими вещами даровитые русские люди. Полагался он больше на связь с «народом» и с «землей», на твердую уверенность, что «народ» и «земля» это и суть источники истины, да еще на свою интуицию, которою обладал в сильной степени. Но интуиция бесформенна, несвязна и противоречива. Отчасти чувствуя это, за связью, за оформлением шел Есенин к другим. В поисках мысли, которая стройно бы облекла его чувство, — подпадал под чужие влияния.

В 1917 году влияние Клюева, по существу близкого Есенину, сменилось левоэсеровским. Тут Есенину объяснили, что грядущая Русь, мечтавшаяся ему, это и есть новое государство, которое станет тоже на религиозной основе, но не языческой и не христианской, а на социалистической: не на вере в спасающих богов, а на вере в самоустроенного человека. Объяснили ему, что «есть Социализм и социализм». Что социализм с маленькой буквы — только социально-политическая программа, но есть и Социализм с буквы заглавной: он является «религиозной идеей, новой верой и новым знанием, идущим на смену знанию и старой вере христианства... Это видят, это знают лучшие даже из профессиональных христианских богословов». «Новая вселенская идея (Социализм) будет динамитом, она раскует цепи, еще крепче прежнего заклепанные христианством на теле человечества». «В христианстве страданиями одного Человека спасался мир: в Социализме грядущем страданиями мира спасен будет каждый человек».

Эти цитаты взяты из предисловия Иванова-Разумника к есенинской

поэме. Хронологически статья писана после «Инонии», но внутренняя последовательность их, конечно, обратная. Не «Инония» навела Иванова-Разумника на высказанные в его статье новые или не новые мысли, а «Инония» явилась ярким поэтическим воплощением всех этих мыслей, привитых Есенину Ивановым-Разумником.

Не утрашуся гибели,  
Ни копий, ни стрел дождей, —  
Так говорит по Библии  
Пророк Есенин Сергей.

Тут Есенин заблуждался. «Инонию» он писал лишь в смысле некоторых литературных приемов по Библии. По существу же вернее было сказать не «по Библии», а «по Иванову-Разумнику».

Есенин, со своей непосредственностью, перестарался. Поэма получилась открыто антихристианская и грубокощунственная. По каким-то соображениям Иванов-Разумник потом старался затушевать и то, и другое, свалив с больной головы на здоровую. Он уверяет, что Есенин «борется» не с Христом, а с тем лживым подобием его, с тем «Анти-Христом», под властной рукой которого двадцать (?) веков росла и ширилась историческая церковь. По Иванову — Разумнику выходит, что они-то с Есениным и пекутся о вере Христовой. Правда, он тут же и проговаривается, что эта вера им дорога только как предшественница большей истины, грядущего Социализма, который и ее самое окончательно исправит и тем самым... упразднит, чтобы отныне мир больше уж не спасался «страданиями одного **Человека**»... нет уж, честное антихристианство Есенина в «Инонии» больше располагает к себе, чем его Ивановская интерпретация.

Не будем играть словами. Есенин в «Инонии» отказался от христианства вообще, не только от «исторического», а то, что свою истину он продолжал именовать Иисусом, только «без креста и мук», — с христианской точки зрения было наиболее кощунственно. Отказался, быть может, с наивной легкостью, как перед тем наивно считал себя христианином, — но это не меняет самого факта.

Другое дело — литературные достоинства «Инонии». Поэма очень талантлива. Но для наслаждения ее достоинствами надобно в нее погрузиться, обладая чем-то вроде прочного водолазного наряда. Только запасшись таким нарядом, читатель духовно-безнаказанно сможет разглядеть соблазнительные красоты «Инонии».

«Инония» была лебединой песней Есенина, как поэта революции и чаемой новой правды. Заблуждался он или нет, сходились или не сходились в его писаниях логические концы с концами, худо ли, хороши ли, — как ни судить, а несомненно, что Есенин высказывал, «выпевал» многое из того, что носилось в тогдашнем катастрофическом воздухе. В этом смысле, если угодно, он действительно был «пророком». Пророком своих и чужих заблуждений, несбывшихся упований, ошибок, — но пророком. С «Инонией» он высказался весь, до конца. После нее, ему в сущности, сказать было нечего. Слово было за событиями. Инония реальная должна была настать — или не настать. По меньшей мере, Россия должна была к ней двинуться — или не двинуться.

Весной 1918 года я познакомился в Москве с Есениным. Он как-то физически был приятен. Нравилась его стройность; мягкие, но уверенные движения; лицо не красивое, но миловидное. А лучше всего была его веселость, легкая, бойкая, но не шумная и не резкая. Он был очень ритмичен. Смотрел прямо в глаза и сразу производил впечатление человека с правдивым сердцем, наверное — отличнейшего товарища.

Мы не часто встречались и почти всегда — на людях. Только раз прогуляли мы по Москве всю ночь, вдвоем. Говорили, конечно, о революции, но в памяти остались одни незначительные отрывки. Помню, что мы простились, уже не рассвете, у дома, где жил Есенин, на Тверской, возле Постниковского пассажа. Прощались довольные друг другом. Усердно звали друг друга в гости — да так оба и не собрались. Думаю — потому, что Есенину был не по душе круг моих друзей, мне же — его окружение.

Вращался он тогда в дурном обществе. Преимущественно это были молодые люди, примкнувшие к левым эсерам и большевикам, довольно невежественные, но чувствовавшие решительную готовность к переустройству мира. Философствовали непрестанно и непременно в экстремистском духе. Люди были широкие. Мало ели, но много пили. Не то пламенно веровали, не то пламенно кощунствовали. Ходили к проституткам проповедывать революцию — и били их. Основным образом длились на два типа. Первый — мрачный брюнет с большой бородой. Второй — белокурый юноша с длинными волосами и серафимическим взором, слегка «нестеровского» облика. И те, и другие готовы были ради ближнего отдать последнюю рубашку и загубить свою душу. Самого же

ближнего — тут же расстрелять, если того «потребует революция». Все писали стихи и все имели непосредственное касательство к ЧК. Кое-кто из серафимических блондинов позднее прославился именно на почве расстреливания. Думаю, что Есенин знался с ними из небрежливости любопытства и из любви к крайностям, каковы бы они ни были.

Помню такую историю. Тогда же, весной 1918 г., Алексей Толстой вздумал справлять именины. Созвал всю Москву литературную: «Сами приходите и вообще публику приводите». Собралось человек сорок, если не больше. Пришел и Есенин. Привел бородатого брюнета в кожаной куртке. Брюнет прислушивался к беседам. Порою вставлял словцо — и не глупое. Это был Блюмкин, месяца через три убивший графа Мирбаха, германского посла. Есенин с ним, видимо, дружил. Была в числе гостей поэтесса К. Приглянулась она Есенину. Стал ухаживать. Захотел щегольнуть — и простодушно предложил поэтессе:

— А хотите поглядеть, как расстреливают? Я это вам через Блюмкина в одну минуту устрою.

Кажется, жил он довольно бестолково. В ту пору сблизился и с большевизскими «сферами».

Еще ранее, чем «Инонию», написал он стихотворение «Товарищ», вещь очень слабую, но любопытную. В ней он впервые расширил свою «социальную базу», выведя рабочих. Рабочие вышли довольно неправдоподобны, но важно то, что в число строителей новой истины включался теперь тот самый пролетариат, который вообще трактовался крестьянскими поэтами, как «хулиган» и «шпана». Перемена произошла с разительной быстротой и неожиданностью, что опять таки объясняется теми влияниями, под которые подпал Есенин.

В начале 1919 года вздумал он записаться в большевизскую партию. Его не приняли, но намерение знаменательно. Понимал ли Есенин, что для пророка того, что «больше революции», вступление в РКП было бы огромнейшим «понижением», что из создателей Инонии он спустился бы до роли рядового устроителя Р.С.Ф.С.Р.? Думаю — не понимал. В ту же пору с наивной гордостью он воскликнул: «Мать моя родина! Я большевик».

«Пророческий» период кончился. Есенин стал смотреть не в будущее, а в настоящее.

Если бы его приняли в РКП, из этого бы не вышло ничего хорошего. Увлечение пролетариатом и пролетарской революцией оказалось непрочно. Раньше, чем многие другие, соблазненные дурманом военного коммунизма, он увидел, что дело не идет не только к Социализму с большой буквы, но даже и с самой маленькой. Понял, что на пути в Инонию большевики не попутчики. И вот, он бросает им горький и ядовитый упрек:

Веслами отрубленных рук  
Вы гребете в страну грядущего!

У него еще не хватает мужества признать, что Инония не состоялась и не состоится. Ему еще хочется надеяться, он вновь обращает все упования на деревню. Он пишет «Пугачева», а затем едет куда-то в деревню — прикоснуться к земле, занять у нее новых сил.

Деревня не оправдала надежд. Есенин увидел, что она не такова, какой он ее воспел. Но, по слабости человеческой, он не захотел заметить внутренних, органических причин, по которым она и после «грозы и бури» не двинулась по пути к Инонии. Он валит вину на «город», на городскую культуру, которой большевики, по его мнению, отравляют деревянную Русь. Ему кажется, что виноват прибежавший из города автомобиль, трубящий в «погибельный рог». По какой-то иронии судьбы, только теперь, когда заводы и фабрики фактически остановились, он вдруг их заметил, и ему чудится, будто они слишком близко стали к деревне — и отравляют ее:

О, электрический восход,  
Ремней и труб глухая хватка,  
Се изб бревенчатый живот  
Трясет стальная лихорадка.

И промчавшийся поезд, за которым смешно и глупо гонится жеребенок, он проклиная:

Черт бы взял тебя, скверный гость!  
Наша песня с тобой не сживется.  
Жаль, что в детстве тебя не пришлось  
Утопить, как ведро в колодце.  
Хорошо им стоять и смотреть,

Красить рты в жестяных поцелуях,  
Только мне, как псаломщику, петь  
Над родимой страной Аллилуйя.  
Оттого то, в сентябрьскую склень,  
На сухой и холодный суглинок,  
Головой разможжась о плетень  
Облилась кровью ягод рябина.  
Оттого то выросла тужиль  
В переборы тальянки звонкой,  
И соломой пропахший мужик  
Захлебнулся лихой самогонкой.

Надвигающаяся власть города вызывает в нем безнадежность и озлобление:

Мир таинственный, мир мой древний,  
Ты, как втер, затих и присел,  
Вот сдавили за шею деревню  
Каменные руки шоссе.

Он сравнивает себя, «последнего поэта деревни» с затравленным волком, который бросается на охотника:

Как и ты, я всегда наготове,  
И хоть слышу победный рожок,  
Но отпробует вражеской крови  
Мой последний смертельный прыжок.

Он вернулся в Москву в угнетенном состоянии. «Нет любви, ни к деревне, ни к городу». Избы и дома ему одинаково не милы. Ему хочется стать бродягой:

Оттого, что в полях забулдыге  
Ветер громче поет, чем кому.

Он готов прикрыть свою скорбь юродством, чудачествами -



Оттого, что без этих чудачеств  
Я прожить на земли; не могу.

Так пророк несбывшихся чудес превращается в юродивого, но это еще не последнее падение. Последнее наступило, когда Есенин загулял, запил. Ему чудится, что вся Россия запила с горя, оттого же, отчего и он сам: оттого, что не сбылись ее надежды на то, что «больше революции», «левее большевиков»: оттого, что бывшее она сгубила, а к тому, о чем мечтала, — не приблизилась:

Снова пьют здесь, дерутся и плачут  
Под гармоники желтую грусть.  
Проклинают свои неудачи,  
Вспоминают московскую Русь.  
И я сам, опустясь головою,  
Заливаю глаза вином,  
Чтоб не видеть лицо роковое,  
Чтоб подумать хоть миг об ином.  
.....  
Что-то злое во взорах безумных,  
Непокорное в громких речах.  
Жалко им тех дурашливых юных,  
Что сгубили свою жизнь сгоряча.  
Где ж вы, те, что ушли далече?  
Ярко ль светят вам наши лучи?  
Гармонист спиртом сифилис лечит,  
Что в киргизских степях получил.  
Нет, таких не подмять. Не рассеять.  
Бесшабашность им гнилью дана.  
Ты Рассея моя... Рассея...  
Азиатская сторона!

С этой гнилью, с городскими хулиганами, Есенину все же легче, нежели с благополучными мещанами советской России. Теперь ему стали мерзки большевики и те, кто с ними. Опостытели бывшие приятели, занявшие боле или мене кровавые, но теплые места:

Я обманывать себя не стану,  
Залегла забота в сердце мгlistом.  
Отчего прослыл я шарлатаном?  
Отчего прослыл я скандалистом?  
Не злодей я, и не грабил лесом,  
Не расстреливал несчастных по темницам.  
Я всего лишь уличный повеса,  
Улыбающийся встречным лицам.  
Средь людей я дружбы не имею.  
Я иному покорился царству.  
Каждому здесь кобелю на шею  
Я готов отдать мой лучший галстук.

К опозорившим себя революционерам он не пристал, а от родной деревни отстал.

Да! теперь решено! Без возврата  
Я покинул родные поля.  
.....  
Я читаю стихи проституткам  
И с бандитами жарю спирт.  
.....  
Я уж готов. Я робкий.  
Глянь на бутылок рать!  
Я собираю пробки  
Душу мою затыкать.

В литературе он примкнул к таким же кругам, к людям, которым терять нечего, к поэтическому босячеству. Есенина затащили в имажинизм, как затаскивали в кабак. Своим талантом он скрашивал выступления бездарных имажинистов, они питались за счет его имени, как кабацкая голь за счет загулявшего богача.

Падая все ниже, как будто нарочно стремясь удариться о самое дно, прикоснуться к последней грязи тогдашней Москвы, он женился. На этой полосе его жизни я не буду останавливаться подробно. Она слишком общеизвестна. Свадебная поездка Есенина и Дункан превратилась в хулиганское «турне» по Европе и Америке, кончившееся разводом. Есенин

вернулся в Россию. Начался его последний период, характеризующий быстрой сменой настроений.

Прежде всего, Есенин, по-видимому, захотел успокоиться и очиститься от налипшей грязи. Зазвучала в нем грустная примиренность, покорность судьбе — и мысли, конечно, сразу обратились к деревне:

Я усталым таким еще не был.  
В эту серую морозь и слизь  
Мне приснилось Рязанское небо  
И моя непутевая жизнь.

.....

И во мне, вот по тем же законам,  
Умиряется бешеный пыл.  
Но и все ж отношусь я с поклоном  
К тем полям, что когда-то любил.  
В те края, где я рос под кленом,  
Где резвился на желтой траве,  
Шлю привет воробьям и воронам,  
И рыдающей в ночь сове.  
Я кричу им в весенние дали:  
«Птицы милые, в синюю дрожь  
Передайте, что я отскандалил...»

Он пишет глубоко задушевное «Письмо к матери»:

Пишут мне, что ты, тая тревогу,  
Загрустила шибко обо мне.  
Что ты часто ходишь на дорогу  
В старомодном, ветхом шушуне.  
И тебе в вечернем синем мраке  
Часто видится одно и то ж:  
Будто кто-то мне в кабацкой драке  
Саданул под сердце финский нож.  
Не буди того, что отмечталось,  
Не волнуй того, что не сбылось, —  
Слишком раннюю утрату и усталость  
Испытать мне в жизни привелось.

Наконец, он и в самом деле поехал в родную деревню, которой не видал много лет. Тут ждало его последнее разочарование — самое тяжкое, в сравнении с которым все бывшие раньше — ничто.

\* \* \*

Перед самой революцией, в декабре 1916 года, крестьянский поэт Александр Ширяевец, ныне тоже покойный, прислал мне свой сборник «Запевки», с просьбой высказать о нем мое мнение. Я прочел книжку и написал Ширяевцу, указав откровенно, что не понимаю, как могут «писатели из народа», знающие мужика лучше, чем мы, интеллигенты, изображает этого мужика каким-то сказочным добрым молодцем, вроде, Чурилы Пленковича, в шелковых лапотках. Ведь, такой мужик, какого живописуют крестьянские поэты, — вряд ли когда и был, — и уж во всяком случае, больше его нет и не будет. 7-го января 1917 года Ширяевец мне ответил таким письмом:

«Многоуважаемый Владислав Фелицианович! Очень благодарен Вам за письмо Ваше. Напрасно думаете, что буду „гневаться“ за высказанное Вами, наоборот, рад, что слышу искренние слова.

Скажу кое-что в свою защиту. Отлично знаю, что такого народа, о каком поют Клюев, Клычков, Есенин и я, скоро не будет, но не потому ли он и так дорог нам, что его скоро не будет?.. И что прекраснее: прежний Чурила в шелковых лапотках, с припевками, да присказками, или нынешнего дня Чурила, в американских щиблетах, с Карлом Марксом или „Летописью“ в руках, захлебывающийся от открываемых там истин?.. Ей-Богу, прежний мне милее!.. Знаю, что там, где были русалочки омуты, скоро поставят купальни для лиц обоего пола, со всеми удобствами, но мне все же милее омуты, а не купальни... Ведь, не так-то легко расстаться с тем, чем жили мы несколько веков! Да и как не уйти в старину от теперешней неразберихи, ото всех этих истерических воплей, называемых торжественно „лозунгами“... Пусть уж о прелестях современности пишет Брюсов, а я поищу Жар-Птицу, пойду к Тургеневским усадьбам, несмотря на то, что в этих самых усадьбах предков моих били смертным боем. Ну, как не очароваться такими картинками?.. (Далее следует полностью стихотворение С. Клычкова „Мельница в лесу“, которое опускаю. В. Х.)

И этого не будет! Придет предприимчивый человек и построит (уничтожив мельницу) какой-нибудь „Гранд-отель“, а потом тут вырастет город с фабричными трубами... И сейчас уж у лазеревого плеса сидит

стриженная курсистка, или с Вейнингером в руках, или с „Ключами счастья“.

Извините, что отвлекаюсь, Владислав Фелицианович. Может быть, чушь несу я страшную, это все потому, что не люблю я современности окаянной, уничтожившей сказку, а без сказки какое житье на свете?...

Очень ценны мысли Ваши, и согласен я с ними, но пока потопчусь на старом месте, около мельниковой дочери, а не стриженной курсистки. О современном, о будущем пусть поют боле сильные голоса, мой слаб для этого...» (Конец письма опускаю: он не имеет отношения к данной теме. В. Х.)

Когда Ширяевец мне писал: «Отлично знаю, что такого народа, о каком поют Клюев, Клычков, Есенин и я, скоро не будет», — знал ли он, что в действительности не только скоро не будет, а уже нет, а вернее, совершенно такого былинно-песенного «народа» никогда и не было? Думаю, знал, — но старался эту мысль гнать от себя: жил верою в идеального мужика, в «сказку», «а без сказки, какое житье на свете?».

Ширяевец не напрасно упомянул Есенина: весь пафос есенинской поэзии был основан на вере в этот воображаемый «народ». И Есенин жил «в сказке», лучшей страницей которой была Инония, светлый град, воздвигаемый мужиком.

Первый удар мечте нанесен был еще до женитьбы Есенина. Но мы уже видели, что тогда Есенин не отважился признать правду: все несоответствие между мечтой и действительностью он не только свалил на вторжение города в жизнь деревни, но и продолжал верить, будто это вторжение лишь механично и ничего не меняет в сущности деревни. Ему даже мерещилось, что придет пора, — деревня захочет и сумеет за себя постоять. Теперь, после долгого отсутствия, вновь приехав в деревню, Есенин увидел всю правду. «Вновь посетив родимые места», он с ужасом замечает:

Какое множество открытий  
За мною следовало по пятам!

Сперва он не узнает местности. Потом, — не сразу находит дом матери. Потом, встретив прохожего, не узнает в нем родного деда, того самого, которого он некогда так ясно себе представлял сидящим в раю «под маврикийским дубом». Потом узнает, что сестры стали комсомолками, что «на церкви комиссар снял крест». Пришли домой — он видит: «на стенке

календарный Ленин». И вот -

Чем мать и дед грустней и безнадежней,  
Тем веселей сестры смеется рот.

Сестра же, «раскрыв, как Библию, пузатый „Капитал“, — „разводит“ ему „о Марксе, Энгельсе“:

Ни при какой погоде  
Я этих книг, конечно, не читал.

И слушая сестрины речи, он вспоминает, как еще при его приближении к дому -

По-байроновски, наша собачонка  
Меня встречает лаем у ворот.

Как видим, дед и мать, безнадежно глядящие на сестер, представляются Есенину последними носителями мужицкой правды: Есенин утешается тем, что хоть в прошлом — эта правда все же существовала. Но в стихотворении „Русь советская“, получившем такую широкую известность, Есенин идет еще дальше: он прямо говорит, что ни в чьих глазах не находит себе приюта, — ни у молодых, ни даже у стариков. Той Руси деревянной, из которой должна была возникнуть Инония, — нет. Есть — грубая, жестокая, пошлая „Русь советская“, распеваящая „агитки Бедного Демьяна“. И Есенину впервые является мысль о том, что не только нет, но, может быть, никогда и не было той Руси, о которой он пел, что его вера в свое посланничество от „народа“ — была заблуждением:

Вот так страна! Какого ж я рожна  
Орал в стихах, что я с народом дружен?  
Моя поэзия здесь больше не нужна,  
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.

Он прощается с деревней, обещая смиренно „принять“ действительность, как она есть. Теперь кончены не только мечты об

Инонии (это случилось раньше) — теперь оказалось, что Инонии неоткуда было и взяться: мечтой оказалось сама идеальная, избяная Русь.

Но смирение Есенина оказалось непрочным. Вернувшись в Москву, глубоко погрузясь в нэповское болото (за границу ушел он в самом начале нэпа), ощутив всю позорную разницу между большевицкими лозунгами и советской действительностью даже в городе, — Есенин впал в злобу. Он снова запил, и его пьяные скандалы сперва приняли форму антисемитских выходок. Тут отчасти заговорила в нем старая закваска, и злоба Есенина вылилась в самой грубой и примитивной форме. Он (и Клычков, принимавший участие в этих скандалах), были привлечены к общественному суду, который состоялся в так называемом „Доме Печати“. О бестактности и унижительности, которыми сопровождался суд, сейчас рассказывать преждевременно. Есенина и Клычкова „простили“. Тогда начались кабацкие выступления характера антисоветского. Один из судей, Андрей Соболев, впоследствии тоже покончивший с собой, рассказывал мне в начале 1925 г., в Италии, что так „крыть“ большевиков, как это публично делал Есенин, не могло и в голову прийти никому в Советской России; всякий, сказавший десятую долю того, что говорил Есенин, давно был бы расстрелян. Относительно же Есенина был только отдан в 1924 году приказ по милиции — доставлять в участок для вытрезвления и отпускать, не давая делу дальнейшего хода. Вскоре все милиционеры центральных участков знали Есенина в лицо. Конечно, приказ был отдан не из любви к Есенину и не в заботах о судьбе русских писателей, а из соображений престижа: не хотели подчеркивать и официально признавать, расхождения между «рабоче-крестьянской» властью и поэтом, имевшим репутацию крестьянского.

Однако, и скандалы сменились другими настроениями. Есенин пытался ездить, побывал на Кавказе, написал о нем цикл стихов, но это не дало облегчения. Как бывало и раньше, захотел он «вернуться к родному краю». Снова пытался смириться: отказавшись и от Инонии, и от Руси, — принять и полюбить Союз Советских Республик, каков он есть. Он добросовестно даже засел за библию СССР, за Марксов «Капитал», — и не выдержал, бросил. Пробовал уйти в личную жизнь, — но и здесь, видимо, не нашел опоры. Чуть ли не каждое его стихотворение с некоторых пор стало кончаться предсказанием близкой смерти. Наконец, он сделал последний, действенный вывод из тех стихов, которые написал давно, когда правда о несостоявшейся Инонии только еще начинала ему открываться:

— Друг мой, друг мой! Прозревшие вежды

Закрывает одна лишь смерть.

Есенин прозрел окончательно, но видеть того, что творится вокруг, не хотел. Ему оставалось одно — умереть.

\* \* \*

История Есенина есть история заблуждений. Идеальной мужицкой Руси, в которую верил он, не было. Грядущая Инония, которая должна была сойти с неба на эту Русь, — не сошла и сойти не могла. Он поверил, что большевицкая революция есть путь к тому, что «больше революции», а она оказалась путем к последней мерзости — к нэпу. Он думал, что верует во Христа, а в действительности не веровал, но, отрекаясь от Него и кощунствуя, пережил всю муку и боль, как если бы веровал в самом деле. Он отрекся от Бога во имя любви к человеку, а человек только и сделал, что снял крест с церкви да повесил Ленина вместо иконы и развернул Маркса, как Библию.

И, однако, сверх всех заблуждений и всех жизненных падений Есенина остается что-то, что глубоко привлекает к нему. Точно сквозь все эти заблуждения проходит какая-то огромная, драгоценная правда. Что же так привлекает к Есенину и какая это правда? Думаю, ответ ясен. Прекрасно и благородно в Есенине то, что он был бесконечно правдив в своем творчестве и пред своею совестью, что во всем доходил до конца, что не побоялся сознать ошибки, приняв на себя и то, на что соблазняли его другие, — и за все захотел расплатиться ценой страшной. Правда же его — любовь к родине, пусть незрячая, но великая. Ее исповедовал он даже в облике хулигана:

Я люблю родину,  
Я очень люблю родину!

Горе его было в том, что он не сумел назвать ее: он воспевал и бревенчатую Русь, и мужицкую Россию, и социалистическую Инонию, и азиатскую Рассею, пытался принять даже СССР, — одно лишь верное имя не пришло ему на уста: **Россия**. В том и было его главное заблуждение, не злая воля, а горькая ошибка. Тут и завязка и развязка его трагедии.



*Chaville. Февраль 1926 г.*

## Горький

Я помню отчетливо первые книги Горького, помню обывательские толки о новоявленном писателе-босяке. Я был на одном из первых представлений «На дне» и однажды написал напыщенное стихотворение в прозе, навеянное «Песнью о соколе». Но все это относится к поре моей ранней юности. Весной 1908 года моя приятельница Нина Петровская была на Капри и видела на столе у Горького мою первую книгу стихов. Горький спрашивал обо мне, потому что читал все и интересовался всеми. Однако долгие годы меж нами не было никакой связи. Моя литературная жизнь протекала среди людей, которые Горькому были чужды и которым Горький был так же чужд.

В 1916 году в Москву приехал Корней Чуковский. Он сказал мне, что возникшее в Петербурге издательство «Парус» собирается выпускать детские книги, и спросил, не знаю ли я молодых художников, которым можно заказать иллюстрации. Я назвал двух-трех москвичей и дал адрес моей племянницы, жившей в Петербурге. Ее пригласили в «Парус», там она познакомилась с Горьким и вскоре сделалась своим человеком в его шумном, всегда многолюдном доме.

Осенью 1918 года, когда Горький организовал известное издательство «Всемирная Литература», меня вызвали в Петербург и предложили заведовать московским отделением этого предприятия. Приняв предложение, я счел нужным познакомиться с Горьким. Он вышел ко мне, похожий на ученого китайца: в шелковом красном халате, в пестрой шапочке, скуластый, с большими очками на конце носа, с книгой в руках. К моему удивлению, разговор об издательстве был ему явно неинтересен. Я понял, что в этом деле его имя служит лишь вывеской.

В Петербурге я задержался дней на десять. Город был мертв и жуток. По улицам, мимо заколоченных магазинов, лениво ползли немногочисленные трамваи. В нетопленных домах пахло воблой. Электричества не было. У Горького был керосин. В его столовой на Кронверкском проспекте горела большая лампа. Каждый вечер к ней собирались люди. Приходили А. Н. Тихонов и З. И. Гржебин, ворочавшие делами «Всемирной Литературы». Приезжал Шаляпин, шумно ругавший большевиков. Однажды явился Красин — во фраке, с какого-то «дипломатического» обеда, хотя я не представляю себе, какая тогда могла быть дипломатия. Выходила к гостям Мария Федоровна Андреева со своим

секретарем П. П. Крючковым. Появлялась жена одного из членов императорской фамилии — сам он лежал больной в глубине горьковской квартиры. Большой портрет Горького — работа моей племянницы — стоял в комнате больного. У него попросили разрешения меня ввести. Он протянул мне горячую руку. Возле постели рычал и бился бульдог, завернутый в одеяло, чтобы он на меня не бросился.

В столовой шли речи о голоде, о гражданской войне. Барабания пальцами по столу и глядя поверх собеседника, Горький говорил: «Да, плохи, плохи дела», — и не понять было, чьи дела плохи и кому он сочувствует. Впрочем, старался он обрывать эти разговоры. Тогда садились играть в лото и играли долго. Ненастною петербургскою ночью, под хлопанье дальних выстрелов, мы с племянницей возвращались к себе на Большую Монетную.

Вскоре после того Горький приехал в Москву. Правление Всероссийского Союза Писателей, недавно возникшего, поручило мне пригласить Горького в число членов. Он тотчас согласился и подписал заявление, под которым, по уставу, должна была значиться рекомендация двух членов правления. Рекомендацию подписали Ю. К. Балтрушайтис и я. Эта забавная бумага, вероятно, найдется в архиве Союза, если он сохранился.

Летом 1920 года со мной случилась беда. Обнаружилось, что одна из врачебных комиссий, через которую проходили призываемые на войну, брала взятки. Нескольких врачей расстреляли, а все, кто был ими освобожден, подверглись переосвидетельствованию. Я очутился в числе этих несчастных, которых новая комиссия сплошь признавала годными в строй, от страха не глядя уже ни на что. Мне было дано два дня срока, после чего предстояло прямо из санатория отправляться во Псков, а оттуда на фронт. Случайно в Москве очутился Горький. Он мне велел написать Ленину письмо, которое сам отвез в Кремль. Меня еще раз освидетельствовали и, разумеется, отпустили. Прощаясь со мной, Горький сказал:

— Перебирайтесь-ка в Петербург. Здесь надо служить, а у нас можно еще писать.

Я послушался его совета и в середине ноября переселился в Петербург. К этому времени горьковская квартира оказалась густо заселена. В ней жила новая секретарша Горького Мария Игнатьевна Бенкендорф (впоследствии баронесса Будберг); жила маленькая студентка-медичка, по прозвищу Молекула, славная девушка, сирота, дочь давнишних знакомых Горького; жил художник Иван Николаевич Ракицкий; наконец, жила моя

племянница с мужем. Вот это последнее обстоятельство и определило раз навсегда характер моих отношений с Горьким: не деловой, не литературный, а вполне частный, житейский. Разумеется, литературные дела возникали и тогда, и впоследствии, но как бы на втором плане. Иначе и быть не могло, если принять во внимание разницу наших литературных мнений и возрастов.

С раннего утра до позднего вечера в квартире шла толчея. К каждому ее обитателю приходили люди. Самого Горького осаждали посетители — по делам «Дома Искусства», «Дома Литераторов», «Дома Ученых», «Всемирной Литературы»; приходили литераторы и ученые, петербургские и приезжие; приходили рабочие и матросы — просить защиты от Зиновьева, всесильного комиссара Северной области; приходили артисты, художники, спекулянты, бывшие сановники, великосветские дамы. У него просили заступничества за арестованных, через него добывали пайки, квартиры, одежду, лекарства, жиры, железнодорожные билеты, командировки, табак, писчую бумагу, чернила, вставные зубы для стариков и молоко для новорожденных, — словом все, чего нельзя было достать без протекции. Горький выслушивал всех и писал бесчисленные рекомендательные письма. Только однажды я видел, как он отказал человеку в просьбе: это был клоун Дельвари, который непременно хотел, чтобы Горький был крестным отцом его будущего ребенка. Горький вышел к нему весь красный, долго тряс руку, откашливался и, наконец, сказал:

— Обдумал я вашу просьбу. Глубочайше польщен, понимаете, но к глубочайшему сожалению, понимаете, никак не могу. Как-то оно, понимаете, не выходит, так что уж вы простите великодушно.

И вдруг, махнув рукой, убежал из комнаты, от смущения не простившись.

Я жил далеко от Горького. Ходить по ночным улицам было утомительно и небезопасно: грабили. Поэтому я нередко оставался ночевать — мне стелили в столовой на оттоманке. Поздним вечером суета стихала. Наступал час семейного чаепития. Я становился для Горького слушателем тех его воспоминаний, которые он так любил и которые всегда пускал в ход, когда хотел «шармировать» нового человека. Впоследствии я узнал, что число этих рассказов было довольно ограничено и что, имея всю видимость импровизации, повторялись они слово в слово из года в год. Мне, не раз попадались на глаза очерки людей, случайно побывавших у Горького, и я всякий раз смеялся, когда доходил до стереотипной фразы: «неожиданно мысль Алексея Максимовича обращается к прошлому, и он невольно отдается во власть воспоминаний». Как бы то ни было, эти

ложные импровизации были сделаны превосходно. Я слушал их с наслаждением, не понимая, почему остальные слушатели друг другу подмигивают и один за другим исчезают по своим комнатам. Впоследствии — каюсь — я сам поступал точно так же, но в те времена мне были приятны ночные часы, когда мы оставались с Горьким вдвоем у остывшего самовара. В эти часы постепенно мы сблизились.

Отношения Горького с Зиновьевым были плохи и с каждым днем ухудшались. Доходило до того, что Зиновьев устраивал у Горького обыски и грозился арестовать некоторых людей, к нему близких. Зато и у Горького иногда собирались коммунисты, настроенные враждебно по отношению к Зиновьеву. Такие собрания камуфлировались под видом легких попоек с участием посторонних. Я случайно попал на одну из них весной 1921 г. Присутствовали Лашевич, Ионов, Зорин. В конце ужина, с другого конца стола пересел ко мне довольно высокий, стройный, голубоглазый молодой человек в ловко сидевшей на нем гимнастерке. Он наговорил мне кучу лестных вещей и цитировал наизусть мои стихи. Мы расстались друзьями. На другой день я узнал, что это был Бакаев.

Вражда Горького с Зиновьевым (впоследствии сыгравшая важную роль и в моей жизни) закончилась тем, что осенью 1921 года Горький был принужден покинуть не только Петербург, но и советскую Россию. Он уехал в Германию. В июль 1922 г. обстоятельства личной жизни привели меня туда же. Некоторое время я прожил в Берлине, а в октябре Горький уговорил меня перебраться в маленький городок Saarow, близ Фюрстенвальде. Он там жил в санатории, а я в небольшом отеле возле вокзала. Мы виделись каждый день, иногда по два и по три раза. Весной 1923 г. я и сам перебрался в тот же санаторий. Сааровская жизнь оборвалась летом, когда Горький с семьей переехал под Фрейбург. Я думаю, что тут были кое-какие политические причины, но официально все объяснялось болезнью Горького.

Мы расстались. Осенью я ездил на несколько дней во Фрейбург, а затем, в ноябре, уехал в Прагу. Спустя несколько времени туда приехал и Горький, поселившийся в отеле «Беранек», где жил и я. Однако, обоих нас влекло захолустье, и в начале декабря мы переселились в пустой, занесенный снегом Мариенбад. Оба мы в это время хлопотали о визах в Италию. Моя виза пришла в марте 1924 г., и так как деньги мои были на исходе, то я поспешил уехать, не дожидаясь Горького. Проведя неделю в Венеции и недели три в Риме, я уехал отсюда 13 апреля — в тот самый день, когда Горький вечером должен был приехать. Денежные дела заставили меня прожить до августа в Париже, а потом в Ирландии. Наконец, в начале

октября, мы съехались с Горьким в Сорренто, где и прожили вместе до 18 апреля 1925 года. С того дня я Горького уже не видал.

Таким образом, мое с ним знакомство длилось семь лет. Если сложить те месяцы, которые я прожил с ним под одною кровлей, то получится года полтора, и потому я имею основание думать, что хорошо знал его и довольно много знаю о нем. Всего, что мне сохранила память, я не берусь изложить сейчас, потому что это заняло бы слишком много места и потому, что мне пришлось бы слишком близко коснуться некоторых лиц, ныне здравствующих. Последнее обстоятельство заставляет меня, между прочим, почти не касаться важной стороны в жизни Горького: я имею в виду всю область его политических взглядов, отношений и поступков. Говорить все, что знаю и думаю, я сейчас не могу, а говорить недомолвками не стоит. Я предлагаю вниманию читателей беглый очерк, содержащий лишь несколько наблюдений и мыслей, которые кажутся мне небесполезными для понимания личности Горького. Я даже решаюсь полагать, что эти наблюдения пригодятся и для понимания той стороны его жизни и деятельности, которой в данную минуту я не намерен касаться.

\* \* \*

Большая часть моего общения с Горьким протекла в обстановке почти деревенской, когда природный характер человека не заслонен обстоятельствами городской жизни. Поэтому я для начала коснусь самых внешних черт его жизни, повседневных его привычек.

День его начинался рано: он вставал часов в восемь утра и, выпив кофе и проглотив два сырых яйца, работал без перерыва до часу дня. В час полагался обед, который с послеобеденными разговорами растягивался часа на полтора. После этого Горького начинали вытаскивать на прогулку, от которой он всячески уклонялся. После прогулки он снова кидался к письменному столу — часов до семи вечера. Стол всегда был большой, просторный, и на нем в идеальном порядке были разложены письменные принадлежности. Алексей Максимович был любитель хорошей бумаги, разноцветных карандашей, новых перьев и ручек — стило никогда не употреблял. Тут же находился запас папирос и пестрый набор мундштуков — красных, желтых, зеленых. Курил он много.

Часы от прогулки до ужина уходили по большей части на корреспонденцию и на чтение рукописей, которые присылались ему в несметном количестве. На все письма, кроме самых нелепых, он отвечал

немедленно. Все присылаемые рукописи и книги, порой многотомные, он прочитывал с поразительным вниманием и свои мнения излагал в подробнейших письмах к авторам. На рукописях он не только делал пометки, но и тщательно исправлял красным карандашом описки и расставлял пропущенные знаки препинания. Так же поступал он и с книгами: с напрасным упорством усерднейшего корректора исправлял в них все опечатки. Случалось — он то же самое делал с газетами, после чего их тотчас выбрасывал.

Часов в семь бывал ужин, а затем — чай и общий разговор, который по большей части кончался игрою в карты: либо в 501 (говоря словами Державина, «по грошу в долг и без отдачи»), либо в бридж. В последнем случае происходило, собственно, шлепанье картами, потому что об игре Горький не имел и не мог иметь никакого понятия: он был начисто лишен комбинаторских способностей и карточной памяти. Беря или чаще отдавая тринадцатую взятку, он иногда угрюмо и робко спрашивая:

— Позвольте, а что были козыри?

Раздавался смех, на который он обижался и сердился. Сердился он и на то, что всегда проигрывал, но может быть именно по этой причине бридж он любил больше всего. Другое дело — партнеры его: они выискивали всяческие отговорки, чтобы не играть. Пришлось, наконец, установить бриджевую повинность: играли по очереди.

Около полуночи он уходил к себе и либо писал, облачась в свой красный халат, либо читал в постели, которая всегда у него была проста и опрятна как-то по больничному. Спал он мало и за работою проводил в сутки часов десять, а то и больше. Ленивых он не любил и имел на то право.

На своем веку он прочел колоссальное количество книг и запомнил все, что в них было написано. Память у него была изумительная. Иногда по какому-нибудь вопросу он начинал сыпать цитатами и статистическими данными. На вопрос, откуда он это знает, вскидывал он плечами и удивлялся:

— Да как же не знать, помилуйте? Об этом была статья в «Вестнике Европы» за 1887 год, в октябрьской книжке.

Каждой научной статье он верил свято, зато к беллетристике относился с недоверием и всех беллетристов подозревал в искажении действительности. Смотря на литературу отчасти как на нечто вроде справочника по бытовым вопросам, приходил в настоящую ярость, когда усматривал погрешность против бытовых фактов. Получив трехтомный роман Наживина о Распутине, вооружился карандашом и засел за чтение. Я

над ним подтрунивал, но он честно трудился дня три. Наконец, объявил, что книга мерзкая. В чем дело? Оказывается, у Наживина герои романа, живя в Нижнем Новгороде, отправляются обедать на пароход, пришедший из Астрахани. Я сначала не понял, что его возмутило, и сказал, что мне самому случалось обедать на волжских пароходах, стоящих у пристани. «Да ведь это же перед рейсом, а не после рейса! — закричал он. — После рейса буфет не работает! Такие вещи знать надо!»

Он умер от воспаления легких. Несомненно, была связь между его последней болезнью и туберкулезным процессом, который у него обнаружился в молодости. Но этот процесс был залечен лет сорок тому назад, и если напоминал о себе кашлем, бронхитами и плевритами, то все же не в такой степени, как об этом постоянно писали и как думала публика. В общем он был бодр, крепок — недаром и прожил до шестидесяти восьми лет. Легендою о своей тяжелой болезни он давно привык пользоваться всякий раз, как не хотел куда-нибудь ехать или, наоборот, когда ему нужно было откуда-нибудь уехать. Под предлогом внезапной болезни он уклонялся от участия в разных собраниях и от приема неугодных посетителей. Но дома перед своими, он не любил говорить о болезни даже тогда, когда она случалась действительно. Физическую боль он переносил с замечательным мужеством. В Мариенбаде рвали ему зубы — он отказался от всякого наркоза и ни разу не пожаловался. Однажды, еще в Петербурге, ехал он в переполненном трамвае, стоя на нижней ступеньке. Вскочивший на полном ходу солдат со всего размаху угодил ему подкованным каблуком на ногу и раздробил мизинец. Горький даже не обратился к врачу, но после этого чуть ли не года три время от времени предавался странному вечернему занятию: собственноручно вытаскивал из раны осколки костей.

\* \* \*

Больше тридцати лет в русском обществе ходили слухи о роскошной жизни Максима Горького. Не могу говорить о том времени, когда я его не знал, но решительно заявляю, что в годы моей с ним близости ни о какой роскоши не могло быть речи. Все рассказы о виллах, принадлежавших Горькому, и о чуть ли не оргиях, там происходивших, — ложь, для меня просто смешная, порожденная литературной завистью и подхваченная политической враждой. Обыватель не только охотно верил этой сплетне, но и ни за что не хотел с ней расстаться. Живучесть ее была поразительна. Ее, можно сказать, бредили в себе и лелеяли, как душевную рану, — ибо



мысль о роскошном образе жизни Горького многих оскорбляла. Фельетонисты возвращались к этой теме всякий раз, как Горький заставлял о себе говорить. В 1927–28 гг. я несколько раз указывал покойному А. А. Яблоновскому, что не надо писать о волшебной вилле на Капри, хотя бы потому, что Горький живет в Сорренто, что уже пятнадцать лет нога его не ступала на каприйскую почву, что даже виза в Италию дана ему под условием не жить на Капри. Яблоновский слушал, кивал головой и вскоре опять принимался за старое, потому что не любил разрушать обывательские иллюзии.

В последние годы каприйская вилла иногда, впрочем, все-таки заменялась соррентинской, но воображаемая на ней жизнь принимала еще более роскошный характер и вызывала еще больше негодования. И вот — я должен покаяться перед человечеством: эта злосчастная вилла была снята не только при моем участии, но даже по моему настоянию. Приехав в Сорренто весной 1924 г., Горький поселился в большой, неудобной, запущенной вилле, которая была ему сдана только до декабря: ее должны были перестраивать. В этой вилле я Горького и застал. Когда приблизился срок выезда, стали искать нового прибежища. Так как зимой в Сорренто довольно холодно, то задумали перебраться на южный склон полуострова, под Амальфи. Там нашли виллу, которую совсем уже было сняли. Максим, сын Горького от первого брака, поехал ее посмотреть еще раз. От нечего делать я отправился с ним. Вилла оказалась стоящей на крошечном выступе скалы; под южным ее фасадом находился обрыв сажен в пятьдесят — прямо в море; северный фасад лишь узкою полосой дороги отделялся от огромной скалы, не просто отвесной, но еще нависающей над дорогой. Эта скала постоянно осыпается, как весь амальфитанский берег. Вилла, на которой предстояло нам поселиться, еще за семь месяцев до того стояла на западной окраине маленького поселка, который очередным обвалом был буквально раздавлен и снесен в море. Я это хорошо помнил, потому что как раз в то время был в Риме. При катастрофе погибло человек сто. Саперы откапывали заживо погребенных, приезжал король. Вилла каким-то чудом уцелела, повиснув над новообразовавшимся обрывом, так что теперь и восточный ее фасад тоже смотрел в пропасть, которой дно еще было усеяно обломками дерева, кирпича и железа. Я объявил Максиму, что жизнь мне дорога и что жить здесь я не стану. Максим насупился — других свободных вилл не было. Мы поехали в Амальфи, а когда возвращались назад часа через два, то в километре от «нашей» виллы принуждены были остановиться и ждать, когда расчистят дорогу: пока мы обедали, случился очередной обвал.

Выбора не оставалось — сняли ту самую виллу «Il Sorito», которой суждено было стать последним прибежищем Горького в Италии. Находилась она не в самом Сорренто, а в полутора километрах от него, на Соррентинском мысу, Capo di Sorrento. Нарядная с виду и красиво расположенная, с чудесным видом на весь залив, на Неаполь, Везувий, Кастелламаре, внутри она имела важные недостатки: в ней было очень мало мебели, и она была холодна. Мы переехали в нее 16 ноября и жестоко мерзли всю зиму, топя немногочисленные камины сырыми оливковыми ветвями. Ее достоинством была дешевизна: сняли ее за 6000 лир в год, что равнялось тогда пяти тысячам франков. В верхнем ее этаже была столовая, комната Горького (спальня и кабинет вместе), комната его секретарши бар. М. И. Будберг, комната Н. Н. Берберовой, моя комната и еще одна, маленькая, для приезжих. Внизу, по бокам небольшого холла, были еще две комнаты: одну из них занимали Максим и его жена, а другую — И. Н. Ракицкий, художник, болезненный и необыкновенно милый человек: еще в Петербурге, в 1918 году, во время солдатчины, он зашел к Горькому обогреться, потому что был болен, — и как-то случайно остался в доме на долгие годы. К этому основному населению надо прибавить мою племянницу, прожившую на «Sorito» весь январь, а потом время от времени приезжавшую из Рима, а также Е. П. Пешкову, первую жену Горького, которая приезжала из Москвы недели на две. Иногда появлялись гости, жившие по соседству, в отеле «Минерва»: писатель Андрей Соболев, приехавший из Москвы на поправку после покушения на самоубийство, профессор Старков с семейством (из Праги) и П. П. Муратов. Иногда к вечернему чаю заходили две барышни, владелицы виллы, сохранившие за собой часть нижнего этажа.

Жизнь в двух этажах протекала неодинаково. В верхнем работали, в нижнем, который Алексей Максимович называл детской, играли. Максиму было тогда лет под тридцать, но по характеру трудно было дать ему больше тринадцати. С женой, очень красивой и доброй женщиной, по домашнему прозвищу Тимошей, порой возникали у него размолвки вполне невинного свойства. У Тимоши были способности к живописи. Максим тоже любил порисовать что-нибудь. Случалось, что один и тот же карандаш или резинка обоим были нужны одновременно.

— Это мой карандаш!

— Нет мой!

— Нет мой!

На шум появлялся Ракицкий. За ним из раскрытой двери вырывались клубы табачного дыма: его комната никогда не проветривалась, потому что

от свежего воздуха у него болела голова. «свежий воздух — яд для организма», говорил он. Стоя в дыму, он кричал:

— Максим, сейчас же отдай карандаш Тимоше!

— Да он же мне нужен!

— Сейчас же изволь отдать, ты старше, ты должен ей уступить!

Максим отдает карандаш и уходит, надув губы. Но глядишь — через пять минут он уже все забыл, насвистывает и приплясывает.

Он был славный парень, веселый, уживчивый. Он очень любил большевиков, но не по убеждению, а потому, что вырос среди них и они всегда его баловали. Он говорил: «Владимир Ильич», «Феликс Эдмундович», но ему больше шло бы звать их «дядя Володя», «дядя Феликс». Он мечтал поехать в СССР, потому что ему обещали подарить там автомобиль, предмет его страстных мечтаний, иногда ему даже снившийся. Пока что он ухаживал за своей мотоциклеткой, собирал почтовые марки, читал детективные романы и ходил в синематограф, а придя пересказывал фильмы, сцену за сценой, имитируя любимых актеров, особенно комиков. У него у самого был замечательный клоунский талант, и если бы ему нужно было работать, из него вышел бы первоклассный эксцентрик. Но он отродясь ничего не делал. Виктор Шкловский прозвал его советским принцем. Горький души в нем не чаял, но это была какая-то животная любовь, состоявшая из забот о том, чтобы Максим был жив, здоров, весел.

Иногда Максим сажал одного или двух пассажиров в коляску своей мотоциклетки, и мы ездили по окрестностям или просто в Сорренто — пить кофе. Однажды всею компанией были в синематографе. В сочельник на детской половине была елка с подарками; я получил пасьянсные карты, Алексей Максимович — теплые кальсоны. Когда становилось уж очень скучно, примерно раз в месяц, Максим покупал две бутылки Асти, бутылку мандаринного ликера, конфет — и вечером звал всех к себе. Танцевали под граммофон, Максим паясничал, ставили шарады, потом пели хором. Если Алексей Максимович упирался и долго не хотел идти спать, затягивали «Солнце всходит и заходит». Он сперва умолял: «Перестаньте вы, черти драповые», — потом вставал и сгорбившись уходил наверх.

Впрочем, мирное течение жизни разнообразилось каждую субботу. С утра посылали в отель «Минерва» — заказать семь ванн, и часов с трех до ужина происходило поочередное хождение через дорогу — туда и обратно — с халатами, полотенцами и мочалками. За ужином все поздравляли друг друга с легким паром, ели суп с пельменями, изготовленный нашими дамами, и хвалили распорядительную хозяйку «Минервы» синьору Какаче, о фамилии которой Алексей Максимович утверждал, что это —

сравнительная степень. Так, по поводу безнадежной любви одного знакомого однажды он выразился: «Положение, какаче которого быть не может».

Приехав в Париж, я узнал, что Горький живет на Капри и проводит время, чуть ли не в оргиях.

\* \* \*

О степени его известности во всех частях света можно было составить истинное понятие только живя с ним вместе. В известности не мог с ним сравниться ни один из русских писателей, которых мне приходилось встречать. Он получал огромное количество писем на всех языках. Где бы он ни появлялся, к нему обращались незнакомцы, выпрашивая автографы. Интервьюеры его осаждали. Газетные корреспонденты снимали комнаты в гостиницах, где он останавливался, и жили по два-три дня, чтобы только увидеть его в саду или за табльдотом. Слава приносила ему много денег, он зарабатывал около десяти тысяч долларов в год, из которых на себя тратил ничтожную часть. В пище, в питье, в одежде был на редкость неприхотлив. Папиросы, рюмка вермута в угловом кафе на единственной соррентинской площади, извозчик домой из города — положительно, я не помню, чтобы у него были еще какие-нибудь расходы на личные надобности. Но круг людей, бывших у него на постоянном иждивении, был очень велик, я думаю — не меньше человек пятнадцати в России и за границей. Тут были люди различнейших слоев общества, вплоть до титулованных эмигрантов, и люди, имевшие к нему самое разнообразное касательство: от родственников и свойственников — до таких, которых он никогда в глаза не видал. Целые семьи жили на его счет гораздо привольнее, чем жил он сам. Кроме постоянных пенсионеров, было много случайных; между прочим, время от времени к нему обращались за помощью некоторые эмигрантские писатели. Отказа не получал никто. Горький раздавал деньги, не соображаясь с действительной нуждой просителя и не заботясь о том, на что они пойдут. Случалось им застревать в передаточных инстанциях — Горький делал вид, что не замечает. Этого мало. Некоторые лица из его окружения, прикрываясь его именем и положением, занимались самыми предосудительными делами — вплоть до вымогательства. Те же лица, порою люто враждовавшие друг с другом из-за горьковских денег, зорко следили за тем, чтобы общественное поведение Горького было в достаточной мере прибыльно, и согласными усилиями, дружным напором,

направляли его поступки. Горький изредка пробовал бунтовать, но, в конце концов, всегда подчинялся. На то были отчасти самые простые психологические причины: привычка, привязанность, желание, чтобы ему дали спокойно работать. Но главная причина, самая важная, им самим, вероятно, несознаваемая, заключалась в особенном, очень важном обстоятельстве: в том крайне запутанном отношении к правде и лжи, которое обозначилось очень рано и оказало решительное влияние как на его творчества, так и на всю его жизнь.

Он вырос и долго жил среди всяческой житейской скверны. Люди, которых он видел, были то ее виновниками, то жертвами, а чаще — и жертвами, и виновниками одновременно. Естественно, что у него возникла (а отчасти была им вычитана) мечта об иных, лучших людях. Потом неразвитые зачатки иного, лучшего человека научился он различать кое в ком из окружающих. Мысленно очищая эти зачатки от налипшей дикости, грубости, злобы, грязи и творчески развивая их, он получал полуреальный, полу-воображаемый тип благородного босняка, который, в сущности, приходился двоюродным братом тому благородному разбойнику, который был создан романтической литературой.

Первоначальное литературное воспитание он получил среди людей, для которых смысл литературы исчерпывался ее бытовым и социальным содержанием. В глазах самого Горького его герой мог получить социальное значение и, следовательно, литературное оправдание только на фоне действительности и как ее подлинная часть. Своих мало реальных героев Горький стал показывать на фоне сугубо-реалистических декораций. Перед публикой и перед самим собой он был вынужден притворяться бытописателем. В эту полуправду он и сам полууверовал на всю жизнь.

Философствуя и резонируя за своих героев, Горький в сильнейшей степени наделял их мечтою о лучшей жизни, то есть об искомой нравственно социальной правде, которая должна надо всем воссиять и все устроить ко благу человечества. В чем заключается эта правда, горьковские герои по началу еще не знали, как не знал и он сам. Некогда он ее искал и не нашел в религии. В начале девятисотых годов он увидел (или его научили видеть) ее залог в социальном прогрессе, понимаемом по Марксу. Если ни тогда, ни впоследствии он не сумел себя сделать настоящим, дисциплинированным марксистом, то все же принял марксизм, как свое официальное вероисповедание или как рабочую гипотезу, на которой старался базироваться в своей художественной работе.

Я пишу воспоминания о Горьком, а не статью о его творчестве. В дальнейшем я и вернусь к своей теме, но предварительно вынужден

остановиться на одном его произведении, может быть — лучшим из всего, что им написано, и несомненно — центральном в его творчестве: я имею в виду пьесу «На дне».

Ее основная тема — правда и ложь. Ее главный герой — странник Лука, «старец лукавый». Он является, чтобы ободрить обитателей «дна» утешительной ложью о существующем где-то царстве добра. При нем легче не только жить, но и умирать. После его таинственного исчезновения жизнь опять становится злой и страшной.

Лука наделал хлопот марксистской критике, которая из всех сил старается разъяснить читателям, что Лука — личность вредная, расслабляющая обездоленных мечтаниями, отвлекающая их от действительности и от классовой борьбы, которая одна может им обеспечить лучшее будущее. Марксисты по-своему правы: Лука, с его верою в просветление общества через просветление личности, с их точки зрения в самом деле вреден. Горький это предвидел и потому, в виде корректива, противопоставлял Луке некоего Сатина, олицетворяющего пробуждение пролетарского сознания. Сатин и есть, так сказать, официальный резонер пьесы. «Ложь — религия рабов и хозяев. Правда — бог свободного человека», — провозглашает он. Но стоит вчитаться в пьесу, и мы тотчас заметим, что образ Сатина, по сравнению с образом Луки, написан бледно и — главное — не любовно. Положительный герой менее удался Горькому, нежели отрицательный, потому что положительного он наделил своей официальной идеологией, а отрицательного — своим живым чувством любви и жалости к людям. Замечательно, что, в предвидении будущих обвинений против Луки, Горький именно Сатина делает его защитником. Когда другие персонажи пьесы ругают Луку, Сатин кричит на них: «Молчать! Вы все — скоты! Дубье... молчать о старике!.. Старик — не шарлатан... Я понимаю старика... да! Он врал... но — это из жалости к вам, черт вас возьми! Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему... Есть ложь утешительная, ложь примиряющая». Еще более примечательно, что свое собственное пробуждение Сатин приписывает влиянию Луки: «Старик? Он — умница! Он подействовал на меня, как кислота на старую и грязную монету... Выпьем за его здоровье!»

Знаменитая фраза: «Человек — это великолепно! Это звучит гордо!» вложена также в уста Сатина. Но автор про себя знал, что, кроме того, это звучит очень горько. Вся его жизнь пронизана острой жалостью к человеку, судьба которого казалось ему безвыходной. Единственное спасение человека он видел в творческой энергии, которая немыслима без

непрестанного преодоления действительности — надеждой. Способность человека осуществить надежду ценил он не высоко, но самая эта способность к мечте, дар мечты — проводили его в восторг и трепет. Создание какой бы то ни было мечты, способной увлечь человечество, он считал истинным признаком гениальности, а поддержание этой мечты — делом великого человеколюбия.

Господа! Если к правде святой  
Мир дорогу найти не умеет,  
Честь безумцу, который навевает  
Человечеству сон золотой.

В этих довольно слабых, но весьма выразительных стихах, произносимых одним из персонажей «На дне», заключен как бы девиз Горького, определяющий всю его жизнь, писательскую, общественную, личную. Горькому довелось жить в эпоху, когда «сон золотой» заключался в мечте о социальной революции, как панацее от всех человеческих страданий. Он поддерживал эту мечту, он сделался ее глашатаем — не потому, что так уж глубоко верил в революцию, а потому что верил в спасительность самой мечты. В другую эпоху с такою же страстностью он отстаивал бы иные верования, иные надежды. Сквозь русское освободительное движение, а потом сквозь революцию он прошел возбужденным и укрепителем мечты, Лукою, лукавым странником. От раннего, написанного в 1893 г. рассказа о возвышенном чиже, «который лгал», и о дятле, низменном «любителе истины», вся его литературная, как и вся жизненная деятельность, проникнута сентиментальной любовью ко всем видам лжи и упорной, последовательной нелюбовью к правде. «Я искреннейше и неколебимо ненавижу правду», — писал он Е. Д. Кусковой в 1929 году. Мне так и кажется, что я вижу, как он, со злым лицом, ощетинившись, со вздутой на шее жилой, выводит эти слова.

\* \* \*

13 июля 1924 г. он писал мне из Сорренто: «Тут, знаете, сезон праздников, — чуть ли не ежедневно фейерверки, процессии, музыка и „ликование народа“. А у нас? думаю я. И — извините! до слез, до ярости завидно, и больно, и тошно и т. д.».

Итальянские празднества с музыкой, флагами и трескотней фейерверков он обожал. По вечерам выходил на балкон и созывал всех смотреть, как вокруг залива то там, то здесь взлетают ракеты и римские свечи. Волновался, потирал руки, покрикивал:

— Это в Торре Аннунциата! А это у Геркуланума! А это в Неаполе! Ух, ух, ух, как зажаривают!

Этому «великому реалисту» поистине нравилось только все то, что украшает действительность, от нее уводит, или с ней не считается, или просто к ней прибавляет то, чего в ней нет. Я видел немало писателей, которые гордились тем, что Горький плакал, слушая их произведения. Гордиться особенно нечем, потому что я, кажется, не помню, над чем он не плакал, — разумеется, кроме совершенной какой-нибудь чепухи. Нередко случалось, что, разобравшись в оплаканном, он сам же его бранил, но первая реакция почти всегда была — слезы. Его потрясало и умиляло не качество читаемого, а самая наличность творчества, тот факт, что вот — написано, создано, вымышлено. Маяковский, однажды печатно заявивший, что готов дешево продать жилет, проплаканный Максимом Горьким, поступил низко, потому что позволил себе насмеяться над лучшим, чистейшим движением его души. Он не стыдился плакать и над своими собственными писаниями: вторая половина каждого рассказа, который он мне читал, непременно тонула в рыданиях, всхлипываниях и протирании затуманившихся очков.

Он в особенности любил писателей молодых, начинающих: ему нравилась их надежда на будущее, их мечта о славе. Даже совсем плохих, заведомо безнадежных он не обескураживал: разрушать какие бы то ни было иллюзии он считал кощунством. Главное же — в начинающем писателе (опять-таки — в очень даже мало обещающем) он лелеял собственную мечту и рад был обманывать самого себя вместе с ним. Замечательно, что к писателям, уже установившимся, он относился иначе. Действительно выдающихся он любил как, например Бунина (которого понимал), или заставлял себя любить (как, например Блока, которого в сущности не понимал, но значительность которого не мог не чувствовать). Зато авторов, уже вышедших из пеленок, успевших приобрести известное положение, но не ставших вполне замечательными, он скорее недолго любил. Казалось, он сердится на них за то, что уже нельзя мечтать, как они подымутся, станут замечательными, великими. В особенности в этих средних писателях его раздражала важность, олимпийство, то сознание своей значительности, которое, в самом деле, им более свойственно, чем писателям действительно выдающимся.



Он любил всех людей творческого склада, всех, кто вносит или только мечтает внести в мир нечто новое. Содержание и качество этой новизны имели в его глазах значение второстепенное. Его воображение равно волновали и поэты, и ученые, и всякие прожекторы, и изобретатели — вплоть до изобретателей перпетуум мобиле. Сюда же примыкала его живая, как-то очень задорно и весело окрашенная любовь к людям, нарушающим или стремящимся нарушить заведенный в мире порядок. Диапазон этой любви, пожалуй, был еще шире: он простирался от мнимых нарушителей естественного хода вещей, то есть от фокусников и шулеров — до глубочайших социальных преобразователей. Я совсем не хочу сказать, что ярмарочный гаер и великий революционер имели в его глазах одну цену. Но для меня несомненно, что, различно относясь к ним умом, любил-то он и того, и другого одним и тем же участком своей души. Недаром того же Сатина из «На дне», положительного героя и глашатая новой общественной правды, он не задумался сделать по роду занятий именно шулером.

Ему нравились все, решительно все люди, вносящие в мир элемент бунта или озорства, — вплоть до маняков-поджигателей, о которых он много писал и о которых готов был рассказывать целыми часами. Он и сам был немножечко поджигатель. Ни разу я не видал, чтобы, закуривая, он потушил спичку: он непременно бросал ее непотушенной. Любимой и повседневной его привычкой было — после обеда или за вечерним чаем, когда наберется в пепельнице довольно окурков, спичек, бумажек, — незаметно подсунуть туда зажженную спичку. Сделав это, он старался отвлечь внимание окружающих — а сам лукаво поглядывал через плечо на разгорающийся костер. Казалось, эти «семейные пожарчики», как однажды я предложил их называть, имели для него какое-то злое и радостное символическое значение. Он относился с большим почтением к опытам по разложению атома; часто говорил о том, что если они удадутся, то, например, из камня, подобранного на дороге, можно будет извлекать количество энергии, достаточное для междупланетных сообщений. Но говорил он об этом как-то скучно, хрестоматийно и как будто только для того, чтобы в конце прибавить, уже задорно и весело, что «в один прекрасный день эти опыты, гм, да, понимаете, могут привести к уничтожению нашей вселенной. Вот это будет пожарчик!» И он прищелкивал языком.

От поджигателей, через великолепных корсиканских бандитов, которых ему не довелось знать, его любовь спускалась к фальшивомонетчикам, которых так много в Италии. Горький подробно о них рассказывал и некогда посетил какого-то ихнего патриарха, жившего в

Алессио. За фальшивомонетчиками шли авантюристы, мошенники и воры всякого рода и калибра. Некоторые окружали его всю жизнь. Их проделки бросавшие тень на него самого, он сносил с терпеливостью, которая граничила с поощрением. Ни разу на моей памяти он не уличил ни одного и не выразил ни малейшего неудовольствия. Некий Роде, бывший содержатель знаменитого кафешантана, изобрел себе целую революционную биографию. Однажды я сам слышал, как он с важностью говорил о своей «многолетней революционной работе». Горький души в нем не чаял и назначил его заведовать Домом Ученых, через который шло продовольствие для петербургских ученых, писателей, художников и артистов. Когда я случайно позволил себе назвать Дом Ученых Роде — вспомогательным заведением, Горький дулся на меня несколько дней.

Мелкими жуликами и попрошайками он имел свойство обростать при каждом своем появлении на улице. В их ремесле ему нравилось сплетение правды и лжи, как в ремесле фокусников. Он поддавался их штукам с видимым удовольствием и весь сиял, когда гарсон или торговец какой-нибудь дрянью его обсчитывали. В особенности ценил он при этом наглость — должно быть, видел в ней отсвет бунтарства и озорства. Он и сам, в домашнем быту, не прочь был испробовать свои силы на том же поприще. От нечего делать мы вздумали издавать «Соррентинскую правду» — рукописный журнал, пародию на некоторые советские и эмигрантские журналы. (Вышло номера три или четыре). Сотрудниками были Горький, Берберова и я. Ракицкий был иллюстратором, Максим переписчиком. Максима же мы избрали и редактором — в виду его крайней литературной некомпетентности. И вот — Горький всеми способами старался его обмануть, подсовывая отрывки из старых своих вещей, выдавая их за неизданные. В этом и заключалось для него главное удовольствие, тогда как Максим увлекался изобличением его проделок. В виду его бессмысленных трат, домашние отнимали у него все деньги, оставляя на карманные расходы какие-то гроши. Однажды он вбежал ко мне в комнату сияющий, с пританцовыванием, с протираньем рук, с видом загулявшего мастерового, и объявил:

— Во! Смотрите-ка! Я спер у Марьи Игнатьевны десять лир! Айда в Сорренто!

Мы пошли в Сорренто, пили там вермут и прикатали домой на знакомом извозчике, который, получив из рук Алексея Максимовича ту самую криминальную десятку, вместо того, чтобы дать семь лир сдачи, хлестнул лошадь и ускакал, щелкая бичом, оглядываясь на нас и хохоча во всю глотку. Горький вытаращил глаза от восторга, поставил брови торчком,

смялся, хлопал себя по бокам и был несказанно, счастлив до самого вечера.

\* \* \*

В помощи деньгами или хлопотами он не отказывал никогда. Но в его благотворительстве была особенность: чем горше проситель жаловался, чем более падал духом, тем Горький был к нему внутренне равнодушнее, — и это не потому, что хотел от людей стойкости или сдержанности. Его требования шли гораздо дальше: он не выносил уныния и требовал от человека надежды — во что бы то ни стало, и в этом сказывался его своеобразный, упорный эгоизм: в обмен на свое участие он требовал для себя права мечтать о лучшем будущем того, кому он помогает. Если же проситель своим отчаянием заранее пресекал такие мечты, Горький сердился и помогал уже нехотя, не скрывая досады.

Упорный поклонник и создатель возвышающих обманов, ко всякому разочарованию, ко всякой низкой истине он относился, как к проявлению метафизически злого начала. Разрушенная мечта, словно труп, вызывала в нем безразличность и страх, он в ней словно бы ощущал что-то нечистое. Этот страх, сопровождаемый озлоблением, вызывали у него и все люди, повинные в разрушении иллюзий, все колебатели душевного благодушия, основанного на мечте, все нарушители праздничного, приподнятого настроения. Осенью 1920 года в Петербург приехал Уэллс. На обеде, устроенном в его честь, сам Горький и другие ораторы говорили о перспективах, которые молодая диктатура пролетариата открывает перед наукой и искусством. Внезапно А. В. Амфитеатров, к которому Горький относился очень хорошо, встал и сказал нечто противоположное предыдущим речам. С этого дня Горький его возненавидел — и вовсе не за то, что писатель выступил против советской власти, а за то, что он оказался разрушителем праздника, *trouble fete*. В «На дне», в самом конце последнего акта, все поют хором. Вдруг открывается дверь, и Барон, стоя на пороге, кричит: «Эй... вы! Иди... идите сюда! На пустыре... там... Актер... удавился!» В наступившей тишине Сатин негромко ему отвечает: «Эх... испортил песню... дур-рак!» На этом занавес падает. Неизвестно, кого бранит Сатин: актера, который некстати повесился, или Барона, принесшего об этом известие. Всего вероятнее обоих, потому что оба виноваты **в порче песни**.

В этом — весь Горький. Он не стеснялся и в жизни откровенно сердиться на людей, приносящих дурные вести. Однажды я сказал ему:

— Вы, Алексей Максимович, вроде царя Салтана:

В гневе начал он чудесить  
И гонца велел повесить.

Он ответил насупившись:

— Умный царь. Дурных вестников обязательно надо казнить.

Может быть, этот наш разговор припомнил он и тогда, когда, в ответ на «низкие истины» Кусковой, ответил ей яростным пожеланием как можно скорей умереть.

\* \* \*

Самому себе он не позволял быть вестником неудачи или несчастья. Если нельзя было смолчать, он предпочитал ложь и был искренно уверен, что поступает человеколюбиво.

Баронесса Варвара Ивановна Иксуль принадлежала к числу тех обаятельных женщин, которые умеют очаровывать старых и молодых, богатых и бедных, знатных и простолюдинов. В числе ее поклонников значились иностранные венценосцы и русские революционеры. В своем салоне, известном некогда всему Петербургу, она соединяла людей самых разных партий и положений. Говорят, однажды в своей гостиной она принимала свирепого министра внутренних дел, а в это время в недрах ее квартиры скрывался человек, разыскиваемый департаментом полиции. С императрицей Александрой Федоровной сохранила она добрые отношения до последних дней монархии. Поклонники и враги Распутина считали ее своей. Революция, разумеется, ее разорила. Ее удалось поселить в «Дом Искусств», где я был ее частым гостем. В семьдесят лет она была по-прежнему обаятельна. Горький, как и многие, чем-то ей в прошлом обязанный, несколько раз меня о ней спрашивал. Я ей передавал об этом. Однажды она сказала: «Спросите Алексея Максимовича, не может ли он устроить, чтобы меня выпустили за границу». Горький ответил, что это дело нетрудное. Он велел Варваре Ивановне заполнить анкету, написать прошение и приложить фотографические карточки. Вскоре он поехал в Москву. Это было весной 1921 года. Легко себе представить, с каким нетерпением Варвара Ивановна ждала его возвращения. Наконец, он вернулся, и я отправился к нему в тот же день. Он мне объявил, что

разрешение получено, но паспорт будет готов только «сегодня к вечеру», и его дня через два привезет А. Н. Тихонов. Варвара Ивановна благодарила меня со слезами, о которых мне стыдно вспомнить. Она принялась распродавать кое-какое имущество, остальное раздаривала. Я каждый день звонил к Тихонову по телефону. Не успел он приехать — я был уже у него и узнал с изумлением, что Алексей Максимович не поручал ему ничего и что обо всем этом деле он слышит впервые. О том, как я пытался добиться от Горького объяснения, рассказывать неинтересно, да я и не помню подробностей. Суть в том, что он сперва говорил о «недоразумении» и обещал все поправить, потом уклонялся от разговоров на эту тему, потом сам уехал за границу. Варвара Ивановна, не дождавшись паспорта, ухитрилась бежать зимой, с мальчишкой — провожатым, по льду Финского залива пробралась в Финляндию, а оттуда в Париж, где и умерла в феврале 1928 года. Через несколько месяцев после, ее бегства я был в Москве и узнал в Наркоминдел, что Горький действительно представил ее прошение, но тогда же получил решительный отказ.

Объяснять этот случай нежеланием признаться в своем бессилии перед властями нельзя: Горький в ту пору даже любил рассказывать о таком бессилии. Насколько я знаю Горького, для меня несомненно, что он просто хотел как можно дольше поддерживать в просительнице надежду, и — кто знает? — может быть, вместе с нею тешил иллюзией самого себя. Такой «театр для себя» был вполне в его духе, я знаю несколько пьес, которые он на этом театре разыграл. Из них расскажу одну — зато самую разительную, в которой создание счастливой иллюзии доведено до полной жестокости.

В первые годы советской власти, живя в Петербурге, Горький поддерживал сношения с многими членами императорской фамилии. И вот, однажды он вызвал к себе кн. Палей, вдову великого князя Павла Александровича, и объявил ей, что ее сын, молодой стихотворец кн. Палей, не расстрелян, а жив и находится в Екатеринославе, откуда только что прислал письмо и стихи. Нетрудно себе представить изумление и радость матери. На свою беду она тем легче поверила Горькому, что вышло тут совпадение, непредвиденное самим Горьким: у Палеев были в Екатеринославе какие-то близкие друзья, и спасшемуся от расстрела юноше вполне естественно было бы найти у них убежище. Через несколько времени кн. Палей, конечно, узнала, что все-таки он убит, и таким образом утешительный обман Горького стал для нее источником возобновившегося страдания: известие о смерти сына Горький заставил ее пережить вторично.

Не помню, по какому случаю, в 1923 г. он мне сам рассказал все это не без сокрушения, которое мне, однако же, показалось недостаточным. Я

спросил его:

— Но ведь были же в самом деле письмо и стихи?

— Были.

— Почему же она не попросила их показать?

— То-то и есть, что она просила, да я их куда-то засунул и не мог найти.

Я не скрыл от Горького, что история мне крепко не нравится, но никак не мог от него добиться, что же все-таки произошло. Он только разводил руками и, видимо, был не рад, что завел этот разговор.

Спустя несколько месяцев, он сам себя выдал. Уехав во Фрейбург, он написал мне в одном из писем: «Оказывается, поэт Палей жив и я имел некоторое право вводить в заблуждение граф. (sic!) Палей (sic!). Посылаю вам только что полученные стихи одного поэта, кажется они плохи».

Прочитав стихи, совершенно корявые, и наведя некоторые справки, я понял все: и тогда, в Петербурге, и теперь, за границей, Горький получил письмо и стихи от пролетарского поэта Палея, по происхождению рабочего. Лично его Горький мог не знать или не помнить. Но ни по содержанию, ни по форме, ни по орфографии, ни даже по почерку стихи этого Палея ни в коем случае невозможно было принять за стихи великокняжеского сына. Писем я не видал, но несомненно, что они еще менее могли дать повод к добросовестному заблуждению. Горький нарочно ввел себя в заблуждение, а затерял письмо и стихи не только от княгини Палей, но прежде всего и главным образом от себя, потому что ему пришлось в голову разыграть дьявольскую трагикомедию с утешением несчастной матери.

Помимо того, что иное объяснение этой истории вообще дать трудно, я еще потому могу настаивать на своем объяснении, что был свидетелем и других случаев совершенно того же характера.

\* \* \*

Отношение ко лжи и лжецам было у него, можно сказать, заботливое, бережное. Никогда я не замечал, чтобы он кого-нибудь вывел на чистую воду или чтобы обличил ложь — даже самую наглую или беспомощную. Он был на самом деле доверчив, но сверх того еще и притворялся доверчивым. Отчасти ему было жалко лжецов конфузить, но главное — он считал своим долгом уважать творческий порыв, или мечту, или иллюзию даже в тех случаях, когда все это проявлялось самым жалким или

противным образом. Не раз мне случалось видеть, что он рад быть обманутым. Поэтому обмануть его и даже сделать соучастником обмана ничего не стоило.

Нередко случалось ему и самому говорить неправду. Он это делал с удивительной беззаботностью, точно уверен был, что и его никто не сможет или не захочет уличить во лжи. Вот один случай, характерный и в этом отношении, и в том, что ложь была вызвана желанием порисоваться — даже не передо мной, а перед самим собой. Я вообще думаю, что главным объектом его обманов в большинстве случаев был именно он сам.

8 ноября 1923 г. он мне писал:

«Из новостей, ошеломляющих разум, могу сообщить, что в „Накануне“ напечатано: „Джиоконда, картина Микель-Анджело“, а в России Надеждою Крупской и каким-то М. Сперанским запрещены для чтения: Платон, Кант, Шопенгауэр, Вл. Соловьев, Тэн, Рескин, Нитче, Л. Толстой, Лесков, Ясинский (!) и еще многие подобные еретики. И сказано: „Отдел религии должен содержать только антирелигиозные книги“. Все сие будто бы (Слова: „будто бы“ вписаны над строкой. — В. Х.) отнюдь не анекдот, а напечатано в книге, именуемой: „Указатель об изъятии антихудожественной и контрреволюционной литературы из библиотек, обслуживающих массового читателя“.

Сверх строки мною вписано „будто бы“ тому верить, ибо я еще не могу заставить себя поверить в этот духовный вампиризм и не поверю, пока не увижу „Указатель“.

Первое же впечатление, мною испытанное, было таково, что я начал писать заявление в Москву о выходе моем из русского подданства. Что еще могу сделать я в том случае, если это зверство окажется правдой?

Знали бы Вы, дорогой В. Ф., как мне отчаянно трудно и тяжело!»

В этом письме правда — только то, что ему было «трудно и тяжело». Узнав об изъятии книг, он почувствовал свою обязанность резко протестовать против этого «духовного вампиризма». Он даже тешил себя мечтою о том, как осуществить протест, послав заявление о выходе из советского подданства.

Может быть, он даже и начал писать такое заявление, но, конечно, знал, что никогда его не пошлет, что все это — опять только «театр для себя». И вот, он прибег к самой наивной лжи, какую можно себе представить: сперва написал мне о выходе «Указателя», как о совершившемся факте, а потом вставил «будто бы» и притворился, что дело нуждается в проверке и что он даже «не может заставить себя поверить» в

существование «Указателя». Между тем, никаких сомнений у него быть не могло, потому что «Указатель», белая книжечка небольшого формата, **давным-давно у него имелся**. За два месяца до этого письма, 14 сентября 1923 г., в Берлине, я зашел в книгоиздательство «Эпоха» и встретил там бар. М. И. Будберг. Заведующий издательством С. Г. Сумский при мне вручил ей этот «Указатель» для передачи Алексею Максимовичу. В тот же день мы с Марией Игнатьевной вместе выехали во Фрейбург. Тотчас по приезде «Указатель» был отдан Горькому, и во время моего трехдневного пребывания во Фрейбурге о нем было немало говорено. Но Горький забыл об этих разговорах и о том, что я видел «Указатель» у него в руках, — и вот беззаботнейшим образом уверяет меня, будто книжки еще не видел и даже сомневается в ее существовании. Во всем этом замечательно еще то, что всю эту историю с намерением писать в Москву заявление он мне сообщил без всякого повода, кроме желания что-то разыграть передо мной, а в особенности — повторяю — перед самим собой.

Если его уличали в уклонении от истины, он оправдывался беспомощно и смущенно, примерно так, как Барон в «На дне», когда Татарин кричит ему: «А! Карта рукав совал!» — а он отвечает, конфузясь: «Что же мне, в нос твой сунуть?» Иногда у него в этих случаях был вид человека, нестерпимо скучающего среди тех, кто не умеет его оценить. Обличение мелкой лжи вызывало в нем ту же досадливую скуку, как и разрушение мечты возвышенной. Восстановление правды казалось ему серым и пошлым торжеством прозы над поэзией. Недаром в том же «На дне» поборником правды выведен Бубнов, бездарный, грубый и нудный персонаж, которого и фамилия кажется, происходит от глагола «бубнить».

\* \* \*

«То — люди, а то — человеки», говорить старец Лука, в этой не совсем ясной формуле, несомненно, выражая отчетливую мысль самого автора. Дело в том, что этих «человеков» надо бы печатать с заглавной буквы. «Человеков», то есть героев, творцов, двигателей обожаемого прогресса, Горький глубоко чтит. Людей же, просто людей с неяркими лицами и скромными биографиями, презирал, обзывал «мещанами». Однако ж, он признавал, что и у этих людей бывает стремление если не быть, то хотя бы казаться лучше, чем они суть на самом деле: «У всех людей, души серенькие, все подрумяниться желают». К такому подрумяниванию он относился с сердечным, деятельным сочувствием и считал своим долгом не



только поддерживать в людях возвышенное представление о них самих, но и внушать им, по мере возможности, такое представление. По-видимому, он думал, что такой самообман может служить отправным пунктом или первым толчком к внутреннему преодолению мещанства. Поэтому он любил служить как бы зеркалом, в котором каждый мог видеть себя возвышенной, благородней, умней, талантливей, чем на самом деле. Разумеется, чем больше получалась разница между отражением и действительностью, тем люди были ему признательней, и в этом заключался один из приемов его несомненного, многими замеченного «шармерства».

Он и сам не был изъятием из закона, им установленного. Была некоторая разница между его действительным образом и воображаемым, так сказать идеальным. Однако, весьма любопытно и существенно, что в этом случае он следовал не столько своему собственному, сколько некоему чужому, притом коллективному воображению. Он не раз вспоминал, как уже в начале девятисотых годов в эпоху первоначальной, неожиданной славы, какой-то мелкий нижегородский издатель так называемых «книг для народа», то есть сказок, сонников, песенников, уговаривал его написать свою лубочную биографию, для которой предвидел громадный сбыт, а для автора — крупный доход. «Жизнь ваша, Алексей Максимович, — чистые денежки», — говорил он. Горький рассказывал это со смехом. Между тем, если не тогда, то позже, и если не совсем такая лубочная, то все-таки близкая к лубочной биография Горького-самородка, Горького-буревестника, Горького-страдальца и передового бойца за пролетариат постепенно сама собою сложилась и окрепла в сознании известных слоев общества. Нельзя отрицать, что все эти героические черты имелись в подлинной его жизни, во всяком случае, необычайной, — но они были проведены судьбою совсем не так сильно, законченно и эффектно, как в его биографии идеальной или официальной. И вот — я бы отнюдь не сказал, что Горький в нее поверил или непременно хотел поверить, но, влекомый обстоятельствами, славой, давлением окружающих, он ее принял, усвоил себе раз навсегда вместе со своим официальным воззрением, а приняв — в значительной степени сделался ее рабом. Он считал своим долгом стоять перед человечеством, перед «массами» в том образе и в той позе, которых от него эти массы ждали и требовали в обмен за свою любовь. Часто, слишком часто приходилось ему самого себя ощущать некоей массовой иллюзией, частью того «золотого сна», который однажды навеян и который разрушить он, Горький, уже не в праве. Вероятно, огромная тень, им отбрасываемая, нравилась ему своим размером и своими резкими очертаниями. Но я не

уверен, что он любил ее. Во всяком случае могу ручаться, что он часто томился ею. Великое множество раз, совершая какой-нибудь поступок, который был ему не по душе или шел вразрез с его совестью, или наоборот — воздерживаясь от того, что ему хотелось сделать или что совесть ему подсказывала, — он говорил с тоской, с гримасой, с досадливым пожиманием плеч: «Нельзя, биографию испортишь». Или: «Что поделаешь, надо, а то биографию испортишь».

\* \* \*

От нижегородского цехового Алексея Пешкова, учившегося на медные деньги, до Максима Горького, писателя с мировой известностью, — огромное расстояние, которое говорит само за себя, как бы ни расценивать талант Горького. Казалось бы, сознание достигнутого, да еще в соединении с постоянной памятью о «биографии», должны были дурно повлиять на него. Этого не случилось. В отличие от очень многих, он не гонялся за славой и не томился заботой о ее поддержании; он не пугался критики, так же, как не испытывал радости от похвалы любого глупца или невежды; он не искал поводов удостовериться в своей известности, — может быть, потому, что она была настоящая, а не дутая; он не страдал чванством и не разыгрывал, как многие знаменитости, избалованного ребенка. Я не видал человека, который носил бы свою славу с большим умением и благородством, чем Горький.

Он был исключительно скромнен — даже в тех случаях, когда был доволен самим собой. Эта скромность была неподдельная. Происходила она, главным образом, от благоговейного преклонения перед литературой, а кроме того — от неуверенности в себе. Раз навсегда усвоив довольно элементарные эстетические понятия (примерно — 70-х, 80-х годов), в своих писаниях он резко отличал содержание от формы. Содержание казалось ему хорошо защищенным, потому что опиралось на твердо усвоенные социальные воззрения. Зато в области формы он себя чувствовал вооруженным слабо. Сравнивая себя с излюбленными и даже с нелюбимыми мастерами (например — с Достоевским, с Гоголем), он находил у них гибкость, сложность, изящество, утонченность, которыми сам не располагал, — и не раз в этом признавался. Я уже говорил, что свои рассказы случалось ему читать вслух сквозь слезы. Но когда спадало это умиленное волнение, он требовал критики, выслушивал ее с благодарностью и обращал внимание только на упреки, пропуская похвалы

мимо ушей. Нередко он защищался, спорил, но столь же часто уступал в споре, а уступив — непременно садился за переделки и исправления. Так, я его убедил кое-что переделать в «Рассказе о тараканах» и заново написать последнюю часть «Дела Артамоновых». Была, наконец, одна область, в которой он себя признавал беспомощным — и страдал от этого самым настоящим образом.

— А скажите, пожалуйста, что мои стихи, очень плохи?

— Плохи, Алексей Максимович.

— Жалко. Ужасно жалко. Всю жизнь я мечтал написать хоть одно хорошее стихотворение.

Он смотрит вверх грустными, выцветшими глазами, потом вынужден достать платок и утереть их.

Меня всегда удивляла и почти волновала та необыкновенно человеческая непоследовательность, с которой этот последовательный ненавистник правды вдруг становился правдолюбив, лишь только дело касалось его писаний. Тут он не только не хотел обольщений, но напротив — мужественно искал истины. Однажды он объявил, что Ю. И. Айхенвальд, который был еще жив, несправедливо бранит его новые рассказы, сводя политические и личные счеты. Я ответил, что этого быть не может, потому что, во многом не сходясь с Айхенвальдом, знаю его, как критика в высшей степени беспристрастного. Это происходило в конце 1923 г., в Мариенбаде. В ту пору мы с Горьким сообща редактировали журнал «Беседа». Спор наш дошел до того, что я, чуть ли не на пари, предложил в ближайшей книжке напечатать два рассказа Горького — один под настоящим именем, другой под псевдонимом, — и посмотреть, что будет. Так и сделали. В 4-й книжке «Беседы» мы напечатали «Рассказ о герое» за подписью Горького и рядом другой рассказ, который назывался «Об одном романе», — под псевдонимом «Василий Сизов». Через несколько дней пришел номер берлинского «Руля», в котором Сизову досталось едва ли не больше, чем Горькому, — и Горький мне сказал с настоящею, с неподдельной радостью:

— Вы, очевидно, правы. Это, понимаете, очень приятно. То есть не то приятно, что он меня изругал, а то, что я, очевидно, в нем ошибался.

Почти год спустя, уже в Сорренто, с тем же рассказом вышел курьез. Приехавший из Москвы Андрей Соболев попросил дать ему для ознакомления все номера «Беседы» (в советскую Россию она не допускалась). Дня через три он принес книги обратно. Кончался ужин, все были еще за столом. Соболев стал излагать свои мнения. С похвалой говорил о разных вещах, напечатанных в «Беседе», в том числе о рассказах

Горького, — и вдруг выпалил:

— А вот какого-то этого Сизова напрасно вы напечатали. Дрянь ужасная.

Не помню, что Горький ответил, и ответил ли что-нибудь, и не знаю, какое было у него лицо, потому что я стал смотреть в сторону. Перед сном я зачем-то зашел в комнату Горького. Он уже был в постели и сказал мне из-за ширмы:

— Вы не вздумайте Соболю объяснить, в чем дело, а то мы будем стыдиться друг друга как две голых монахини.

\* \* \*

Перед тем, как послать в редакцию «Современных Записок» свои воспоминания о Валерии Брюсове, я прочел их Горькому. Когда я кончил читать, он сказал, помолчав немного:

— Жестоко вы написали, но — превосходно. Когда я помру, напишите, пожалуйста, обо мне.

— Хорошо, Алексей Максимович.

— Не забудете?

— Не забуду.

*Париж, 1936 г.*

---

---

notes

## Примечания

В 1934 г., в Москве, в издательстве «Academia», вышла книжка избранных стихов Брюсова. В приложении даны «Материалы к биографии», составленные его вдовой, которая подтверждает, что в основу «Огненного Ангела» был положен действительный «эпизод».

Подробный разбор этого стихотворения напечатан мною в 1914 г. в журнале «София». Брюсов после, того сказал мне при встрече:

— Вы очень интересно истолковали мои стихи. Теперь я и сам буду их объяснять так же. До сих пор я не понимал их.

Говоря это, он смеялся и смотрел мне в глаза смеющимися, плутовскими глазами: знал, что я не поверю ему, да и не хотел, чтоб я верил. Я тоже улыбнулся, и мы разошлись. В тот же вечер он сказал кому-то, повысив голос, чтобы я слышал:

— Вот мы сегодня с В. Ф. говорили об авгурах...

Ни о каких авгурах мы не говорили.

С годами эти черты в нем усиливались и под конец приняли несколько карикатурный оттенок. Тут, по-видимому, проявилось его сходство с отцом. Ср. воспоминания проф. Н. И. Стороженко.



Изд-во «Скорпион» помещалось в здании Метрополя.

Покойный критик Ю. И. Айхенвальд, высланный из России в 1922 г., писал мне впоследствии: «О Брюсове... И сам я меньше всего склонен его идеализировать. Он сделал мне не мало дурного и, когда сопричислился к сильным мира сего, некрасиво, т. е. экономически мстил мне за отрицательный отзыв о нем в одной из моих давнишних статей. Самая высылка моя — я это знаю наверное, из источника безукоризненного — произошла при его содействии». (Письмо от 5 августа 1926 г.).

Как ни странно, некоторая логика в этом была: самые первые строки Брюсова, появившиеся в печати, — две статьи о лошадях в одном из специальных журналов: не то «Рысак и Скакун», не то «Коннозаводство и Спорт». Отец Брюсова, как я указывал, был лошади-любитель. Когда-то я видел детские письма Брюсова к матери, сплошь наполненные беговыми делами и впечатлениями.

Тождеству действующих лиц и их ситуаций в романах Андрея Белого была мною посвящена статья «Аблеуховы — Летаевы — Коробкины». См. «Современные Записки», 1927, кн. 31-я.

Любовь Дмитриевна, жена Блока. — В. Х.

Артистка Н. Н. Волохова, которой посвящена «Снежная Маска». — В.  
Х.

О его жизни в Цоссене см. замечательные воспоминания Марины Цветаевой в «Современных Записках», 1934, кн. 55-я. В той же книге мною опубликованы три письма его.

О воспоминаниях Белого см. также мои статьи в газ. «Возрождение» от 28 июня и 5 июля 1934 г. и от 27 мая 1938 г.



31 августа 1926 г. в Известиях ВЦИК было напечатано письмо С. Мицкевича, зам. председателя жилищной секций ЦЕКУБУ (т. е. центральной комиссии по улучшению быта ученых). «В практике жилищной секций ЦЕКУБУ, — писал Мицкевич, — имеется уже несколько тяжелых случаев, когда волнения, страдания и мытарства, вызванные жилищными осложнениями, приводили к преждевременной смерти научных работников (доктор Тезяков, известный профессор-литератор Гершензон и др.)».

Сам Андрей Белый («Начало века», стр. 448) передает эту сцену несколько иначе: «Во время чтения ему адреса молчал церемонный старик, став во фраке, закинувши мумиевидную голову, белый, как смерть; вдруг пленительно зуб показав (и отсутствие зуба), он руку потряс сердечно; и облобызал меня. За кулисами, сжав ему руку, едва не упал вместе с ним, потому что орнул он белугой: — „Ой, сделали больно, — и пальцы тряс, сморщась, — ну, можно ли эдаким способом пальцы сжимать?“ И качая над носом моим своим пальцем, откинувшись, фалдами фрака трясся, он сурово меня распекал».

Должно заметить однако, что лицо, рассказавшее мне об этом эпизоде, находилось среди публики и могло видеть лишь то, что происходило именно на сцене, а не за кулисами.

Ее сестра, тоже переводчица и писательница, Александра Николаевна Чеботаревская, жила в Москве. В день похорон Гершензона (февраль 1925) было решено речей не произносить. Однако, какой-то коммунист, растолкал присутствовавших, подошел к могиле и стал говорить о том, что хотя Гершензон был «не наш», все же пролетариат чтит память этого пережитка буржуазной культуры. Александра Николаевна не выдержала и тут же высказала все, что накопилось у нее на душе. Когда разошлись с кладбища, она весь день не могла успокоиться. Вечером, после нервного припадка, она пошла на Большой Каменный мост, перекрестилась, осенила крестным знаменем Москву на все четыре стороны и бросилась с моста в полынью. Прохожие ее вытащили, но час спустя она скончалась в приемном покое от разрыва сердца. Рассказываю со слов советского писателя, который тогда был в Москве, а затем на время приезжал в Париж. Андрей Белый («Начало века», стр. 447) пишет, что обе сестры покончили с собой «на почве психического заболевания».